

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

ПРОГУЛКИ
ПРИ ПОЛОЙ ЛУНЕ

МСМХСІІІ

ПРОЗА

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

ПРОГУЛКИ ПРИ ПОЛОЙ ЛУНЕ

*книга о деревьях, насекомых, женщинах и,
конечно, о луне*

ОЛЕГ ЮРЬЕВ

ПРОГУЛКИ ПРИ ПОЛОЙ ЛУНЕ

*книга о деревьях, насекомых, женщинах и,
конечно, о луне*

Ассоциация современной литературы

« КАМЕРА ХРАНЕНИЯ »

Санкт-Петербург

1993

Oleg Jurjew. *Progulki pri poloј lune.*

Copyright © Oleg Jurjew, 1992.

Copyright © Association Kamera chranenija. 1993

Addresses of the Association Kamera chranenija:

Dmitrij Zah; Roederbergweg 121, 60385 Frankfurt am Main 60, BRD.

Россия, 197343, Санкт-Петербург,
ул. Матроса Железняка 33-55, Д.М. Закс

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, without permission.

St. Petersburg — Frankfurt am Main
1993

Олег Юрьев. *Прогулки при полой луне. Книга о деревьях, насекомых, женщинах и, конечно, о луне.*

© Олег Юрьев, 1992.

© Ассоциация современной литературы
«Камера хранения», 1993.

Адреса Ассоциации современной литературы «Камера хранения»: Россия, 197183, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка 33-55. Д. М. Закс. Dmitrij Zah, Roederbergweg 121, 60385 Frankfurt am Main 60, BRD.

Авторские права © сохраняются за автором. Перепечатка текста или воспроизведение его любыми другими средствами, полностью или частично, возможны только с разрешения автора или его полномочного представителя.

Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне
1993

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинградский рассказ	6
Московский рассказ	11
Пицундский рассказ	17
Третий ленинградский рассказ	22
Пятый московский рассказ	28
Пароходный рассказ	34
Четвертый ленинградский рассказ	40
Второй московский рассказ	46
Пярнусский рассказ	51
Пятый ленинградский рассказ	57
Третий московский рассказ	63
Щельковский рассказ	68
Второй ленинградский рассказ	73
Грязовецкий рассказ	79
Седьмой ленинградский рассказ	85
Нью-йоркский рассказ	91
Четвертый московский рассказ	97
Шестой ленинградский рассказ	102
Загородный рассказ	108
Залаэгерсегский рассказ	114
Восьмой ленинградский рассказ	119
Одесский рассказ	125
Железнодорожный рассказ	131
Девятый ленинградский рассказ	137

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

У Цици выросли усишки, и он призраил их, разрозненные, радужным низом зрения. Глаза через это делались очень косые и покатые.

И Цици начинал глядеться лукавцем.

Маленький, реденький, ушастый — как бабушка в кофте, шел он по Невскому, в войлочных ботиках со змейкой — мимо смерти мужьям, мимо кондитерской, мимо лавки художника, мимо даже военбибколлектора — шел он в журнал. Цица, знаете ли, был писатель.

Но что же я могу сделать, коли с самого что ни на есть нежного детства мои все знакомые — единственно что одни писатели, и никогда даже не знал я никаких женщин, за исключением поэтесс!

— У тебя была женщина литературный критик, — искоса сдотошничал Цица.

— Поссать не пернуть, как свадьба без гармошки, — объяснил я ему и остановился, потому что мы уже дошли до угла. «Прощай», — сказал я Цице, и он — накрененный к подтекающим ботам — поскакал, разъезжаясь, через дорогу, набитую коричневым снегом. Что касается меня, лично я на ту сторону никогда не перехожу, так как меня литературная жизнь не интересуется. Интересует меня лишь только секс, да и он не очень.

Низко подошедшая к поверхности луна в своей едва заросшей лунке шевельнула опухлым на укусе кусом по-за удочкой шпнца. По́низу неровно чернели семирамидины вороны сады на напряженных цёпях, улицы вокруг мигали.

Циця в мигающем полумраке, освещаемый лишь окном, с окованным по углам портфелем на кротких исполосованных коленях, сидел у пустого стола в начале круглоплечей, сужающейся в совершенную тьму редакционной анфилады. Теперь он напал на эти усишки снизу, надувным, нежно-пупырчатым исподом нижней губы осязая их волосистость. По сквозьоконной лестнице — желто-красно-черной — сошел на дерматин антрацитный блеск, поелозил и втянулся в толсточерностеклянный кувшин, на мгновенье сделавшийся своим негативом.

Опять никого, даже ни секретарши! Циця, бедный, ходил сюда уж скоро четвертый годочек, но ни разу не застал ни единой души.

Боже, как я люблю статую Пржевальского! Этот пятнистый Пржевальский в генеральском снегу, этот верблюд с его жестко-стоячим чубчиком — как пожилой американский педераст, эта зимняя тяжесть в коленях, эта мусорная морось на губах... А какие разные бывают женщины! — Женщина, похожая сзади на море... Женщина, похожая на две змеи... Женщина — не женщина,

а соединенные стати Америки... Женщины-вилки и женщины-ложки... Нахальные старушки с богемными замашками... Малохолные девочки, которые плачут на бегу... Но зимой ничего-ничего из этого и не видно и не слышно.

В дальнем конце сводчатого коридора зашебуршало. «Неужто ж... сотрудник», — помыслил Циця. Но се летела мышь. Круглогрудый, круглоглазый, круглоухий, в треугольном поколенном пальто из дождевой ткани, сейчас сухой, — Циця и сам смахивал в известных замашках на летучую мышь и, как водится, боялся и не любил всякое на себя похожее. Но мышь была не летучая, просто летела. «Хорошая тема для новеллы», — подумал Циця, успокоясь.

Летела она сидя, грыжегато раздвинувши короткие задние лапы и перематывая возле стекшего крыжовенного животика еще кратчайшими передними. Жестко и ровно отвешенный хвост — с прямоугольным шагом на конце, как у коловорота — правил планирующим ее шорохом. Мышь неярко, но трехцветно подсвечивалась из себя. Циця улыбался мыши.

«Зачем же это она мне сдалась?» — подумал я, как Наполеон.

Но не река уж, уж конечно. Уж не река — черная, с подзатопленными по бережкам желтыми биссектрисами; с мелкозубыми мостами;

вольно веющая снизу свежим тленом; томно тлеющая сверху лунным облаком. Уж не она уж.

Но уж и не зима, уж конечно. Зима уж кончалась, повиснув черно-каплющим семидесятисемисосковым выменем на матице своего дворца. Я взошел на его мост.

Мышь неожиданно заложила вираж и всё так же сидя, но ускоря шорох до свиста, завернула на Цицю.

Циця отдернулся, оборонно заслонясь портфелем. Стул его, треща ногами по линолеуму, поехал к окну. Мышь замедлилась, почти зависла, но не отставала. Ее краеугольное лицо шевелило желто-зелеными волосками у самых цициных глаз. «Как страшно! — подумал Циця. — Отличная тема для новеллы». Мышь взмыла к потолку, к полурассосавшейся во тьме мифологической лепнине, затерялась в ней, и, когда Циця уже было почувствовал облегченную дурноту, с жужжанием пала всеми четырьмя лапами Цице на плешь. С тем же невозмутимым трехточечным лицом стала она драть цицину рано облетевшую макушку. Но зубья в ход пока еще не пускала. Циця выпучил слюни из вывернутого рта и весь покрылся крупными черными мурашками. «Совсем всё рассаднила, — подумал он. — Замечательная тема для новеллы!»

«Замечательная тема Цице для новеллы, — подумал я. — Она ему сдалась, а на кой она ему

сдалась?» Я думал о маленькой девушке, похожей на кожаный веник. Как она любила Эдиту Пьеху! Так я никого никогда не любил, даже девушку, похожую сзади на море, даже памятник Пржевальскому.

Стрелка лежала во мраке, лишь многоугольная колонна подсвечивалась крупнокачущим снегом, который пошел. А я за ним. По черногребенчатой плоскости, изъеденной сверху луной и снегом, а спящими рыбами и железными водорослями снизу. Поднимаясь полого над растопыривающейся рекою, пропустившей меж широких, окольцованных пальцев пунктирную набивку световой клетчатки — рваной городской ткани. И вот уже всё это лишь огромная плоская развертка красно-желто-черного блеску и мелькания — семидесятисемисторонняя трассирующая перестрелка, вид сверху. Далеко же я зашел...

Циця еще раз дернулся назад, отпихивая воздух вздетыми полуразомкнутыми ботиками. Стул опрокинулся, и Циця с мышью на голове въехал в окно, как раз переменившее желтый на зеленый. «Слава Богу, окно до полу, — успел подумать Циця. — Не раскрою себе голову о бата-рею».

А дальше начиналось уже море.

МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

— А я дал в рот, вчера, внучатой племяннице академика Эс...— сказал Ильюша Хмельницкий и, подумавши, уточнил: — На крыше...

Мы шли неизвестно почему в ногу — по Тверскому бульвару к Никитским воротам — по полному позвоночнику трухлявой черноты. Он придерживал оттопыренные полы пухлого кожаного плаща и с подскребом пинал закругленными передами ботинок листовенную ветошь и сушь, беззвучно пылящую; а я — в свою очередь — замороженно следил за его коротконосым опущенным лицом, то желтеющим, то багровеющим, то зеленеющим — в зависимости от каденции регулирующего трехсложника, беззвучно просачивающегося сквозь сложный костяк бульвара.

— А я в ротевича... внучатой племяннице... академика Эс,— повторил однофамилец кровавого гетмана и вздохнул глубоко и глупо. Близорукая луна по-над бульваром мигнула рваным паутинным веком и восстановила свое ясное, но неотчетливое сияние. Вчера была она еще плоской, а сегодня уже явственно шаровидной, базедовой,— но...: подозрительно легкой и чистой — вероятно, пустотелой.

— Эс, академика... — в третий раз сказал Ильюша и наконец-то поднял ко мне волнистое свое лицо.

— В городе Горький ясные зорьки, — сказал я. — И ну и как?

— Ништяк, — серьезно кивнул Ильюша и снова наклонил лицо к шарканию наших поцарапанных копытец.

Я знал, что его мать, простодушно-надменная и нелепо-добросердечная женщина с бородавкой, умерла; что через два года умрет и огромный, пустастый отец; через три — жена бросит и навсегда отнимет ребенка; а через пять — будет он, Ильюша, сидеть в мокрой раковине автомашины, втягивающей в себя весь окрестный электрический гуд, и недвижимо смотреть в сверкающую трехцветную ночь бесконечно пустой новоанглийской улицы. Его губы шевелятся, но я не слышу, что он говорит.

Пока, однако же, от Никитских ему дальше по кольцу, к Арбату, а мне направо, мимо круглостенной крепостцы, где держали на гардэ прокуренного сутулого дедка, прошедшего в ферзи (*«Скажите, вы действительно Горький?» — спросила восторженная дама. «Можете лизнуть»*), — величественно ответил великий писатель), мимо разграфленного прожекторами садика с толстым памятником — к дому литераторов. У меня, видите ли, имелось там свидание с девушкой, похожей сзади на море.

Она была в белом платье и уже смутно светилась у входа марлевым облаком.

— Ты, как сестра милосердия — всё с себя раненым отдала и осталась в одной марле, — сказал я, подойдя. И пахло от нее чем-то антисептическим — неуловимо, тонко и рассеянно.

— Жары какие, — сказала девушка, любительница гальванизированного московского выговора. И открыла рот, как рыба.

Буфетный синий в прожилках воздух дрожал от одновременного вдохновенного ору шести десятков мужчин. Обволосенные лица надувались, краснелись тугими корнями, замусоленные лбы клонились к середкам столов, беззвучно падали на пол рюмочки-ложечки.

Девушка моя, выдвинув вперед шею и улыбаясь внешними углами узких глаз, потряхивала короткой бело-рыжей стрижкой и вся озиралась.

— Свободно? — спросила она у чуба, окунувшегося в водку, как ивушка.

Чуб дёрнулся, глянул сперва на нее, потом на меня и — с завистливостью обладателя светлой бородки медленно сморгнул. Она уселась, расставив ноги под оседающей юбкой.

Разговаривать было невозможно, как на взлетной полосе — и так же уже ненужно.

Чуб опять было окунулся, но вдруг вскинулся и настороженно глянул назад. Звуковой водопад сложился внезапно в осмысленное слово — как шрифт типографский, что на улице лег «Илиа-

дой»: пять дюжин обглаженных, обложенных языков синхронно изронили — каждый к своему резону —: «...БЛЯДЬ...» и в зале сделалась тишина — только и слышно было, как я звякаю ложечкой в кофе. Тишина провисела с секунду, затем сорвалась. Девушка засмеялась еще раз и оглянулась.

«Ты кого ищешь?» — спросил я. «Никого», — и она поглядела на меня честно.

Голые, отчётливые от пястей до плеч руки, глубокие ключицы, заостренные груди с лежащими сосками под прямым корсажем... Она почесала локоть, где осталось несколько кривых белых, затем покрасневших, затем исчезших полос. «Чего молчишь? Рассказал бы чего-нибудь девушке!» — крикнула она и схватила себя правой ладонью за шею. «ЧТО?» — «Рассказал бы чего-нибудь, сидишь, как и... не кавалер...»

«Нет, что рассказывать?» Она перегнулась через столик и вдыхая смешок сказала: «Ну..., какая я красивая...» (Груди ее под марлей стали треугольными и царапнули кончиками пластик столешницы.)

— Мне нравятся русские женщины, потому что у них волосы подмышками.

Она произвольно сделала руку по шву, а другую схватилась за прижатое плечо. Потом расслабилась, развернулась и рассмеялась: «Сволочь». Откинулась на спинку стула, сцепила над головой прямые плавные руки, вывернув наружу показательные синевато-розовые вздутия в подмы-

шечных вёмах. Встала, отодвинув задницей стул, и хлопнула с размаху обеими ладонями по лядвиям, полным молока и меда: «Пошли. Начинается. А с кем бы ты пошел, кабы я тебя не *захараводила?*»

Если бы она меня не *захараводила*, пошел бы я с Ильюшей Хмельницким, однофамильцем Маросейки, или один. — «Это была судьба. Как сумасшедший с бритвою в руке».

В длинном зале оказалось нелюдно, но душно. Девушка сидела, как дама, выпятив подбородок, вздрагивая рукой на подлокотнике и кося смеющимся глазом. С эстрады что-то бубнили, то вдруг вскрикивали: то скорее, то медленнее; то выше, то ниже; — то поэтовым тенором, то поэтессиним басом. Но, слава Богу, из нашего угла видно ничего не было: всё загораживал горой какой-то хтонический великан с непристойно декольтированным затылком. Или, скажем вежливее (хотя с научной точки зрения это и абсурд; но в новейшей мифологии... —), — культурный герой.

Наши локти соскальзывали с одного на двоих покатога подлокотника, шлёпались на колени и возвращались к продолговатому прохладному касанию.

Она прохладной была, эта девушка, надо отдать ей должное — что было то было.

На съемной квартире у невеселой капитанской

вдовы ждал меня Ильюша Хмельницкий, несносный друг и товарищ.

— Ну как,— спросил он, втягивая двумя работающими щечными воронками срочно пепеляющуюся сигаретку.— Трахнул?

Вывернувшимися губами пошевеливая, навывпускал невообразимого количества дыму, впрочем сейчас же затянутого ситцевой медузой торшера.

— Это еще кто кого.

— Какая к хуям разница,— сказал Ильюша философически и перекинул на кровать прямые, круглые, безволосые ноги, которыми гордился.

И действительно, никакой разницы не было.

Хотя у корабля московской ночи был свой дифферент. Он заваливался на нос, а парижский залегает на корму, а нью-йоркский — уже давно стоит носом в разлинованное небо.

А Иерусалим? — нет у него ночного корабля, только дневной. В его ночи ты плывешь сам, вверх, один из огней, дрожащих в недвижных волнах.

Но сегодня, когда Москва затонула, а Петербург сторел, всё это уже совсем неважно.

ПИЦУНДСКИЙ РАССКАЗ

Слева поблёскивал негативом кроссворда дом творчества журналистов, справа обозначался разрозненным созвездием подъемного крана дом творчества КГБ. Спереди чернело море. Море было похоже на ежевику.

Целыми днями до мгновенно падающего темна я разговаривал лишь с осами — одни они изо всех насекомых знают кое-что по-русски. Однако же и разговор складывался несложный: «Уходи, пожалуйста. Окно вот же...» (С каких пор и как стал я с осами *на ты*, и по сей день не знаю, но так уж оно случилось, и они, кажется, возражают не очень.) Оса — своя собственная сиамская близница — откруживала полтора ноющих окоченелых виточка у деревенеющего моего лица (полтора же оборота узкой, дрожащей, ледяной и вместе жгучей мокрости чувствовал я вокруг сердца) и благодарно-молча уворачивалась в верхний правый угол форточки. Соль с сердца испарялась через спинную кожу, и делалось холодно и потно. Я притискивал ляжкой балконную дверь, и уже не слышно было ни электрического перецока искусно скрытых цикад, не распознаваемых при встрече, ни совокупного перетреска пишущих машинок со всех двенадцати этажей, ни отдельным слоем по

верху наложенной слежалой тишины, сквозь которую алой точкой на белых усах беззвучно шагал самолет. Но я знал, что стопка тишины сейчас удвоится в высоте — все машинки враз лязгнут единственным железным локтем и замолкнут враз — оттого что уже без десяти семь: *ужин*.

Фасольной сиреневой слизью из ушастого казана я залил донце тарелки и пошел с нею, волнуемой, в вытянутых руках, медлительно виражируя меж скрипенья ножей, скрежетанья вилок, наведенья далеко отведенными локтями ложек на подкованные рты, сейчас озабоченно раскрытые — в самый темный заворот столовой, за расписную под потное дерево четырехгранную тумбу, где поджидали меня пакетное пюре с желтой лужицей в кратере и татарская писательница Лиля. «Не ешь *это*, — и Лиля конспиративно катнула по-над щечной дугой свой черный закапанный зрачок из угла в угол двуугольного глаза. — Гига чачи принес, и качапури. После ужина посидим». Она воспитанно поцеловала платочек и сунула его за черный, шелково блестящий, плоский корсаж. Шестеро ее малых деток — Марина, Аня, Боря, Юсуфик, Булатик и Андрюша — молча бегали вокруг стола, сливаясь в горячий окружной ветер, в слитное и смутное мелькание смуглых коленок, белых платиц и черных волос.

— Когда мы тут трахаемся, мы стаскиваем с кровати матрас за ушки и кладем на пол, — втол-

ковывала мне Лиля местные свываи и обычаи.—
Потом, но обязательно этой же ночью, писатель
должен позвонить писательнице в ее номер и по-
благодарить.

— За что? — спросил я.

— Как за что? — удивилась Лиля.— За сюжет.
Но только *словами и выражениями* нельзя поль-
зоваться — я тут одному из Ленинграда всё рас-
сказывала, рассказывала, всю свою жизнь, — а он,
вижу, сидит на полу, книжечку на живот положил
и пишет в темноте. Ах ты сволочь, говорю, — я же
тоже писатель, хоть и республиканский...

Мы стояли ежась у сáмого невидимого моря.
Только белая лесенка луны доходила почти до на-
ших ног. Только черный шар лилиной головы и
алый бант у нее на темени были чернее ордынских
зрачков и ночной темени. Я погладил ее влажные
гладкие зубы, ее гвардейские плечи, маленькую
подспущенную грудь, исщипанный родами жи-
вот...— «Лучше зря не трудись. Ничего не пол-
учится. Уже два года я люблю только Аллена Гин-
зберга».

И действительно — мало что получилось.

Утром опять, конечно, прилетела оса. Широко
расставляя ноги, она ходила туда-сюда по окну,
неловко поворачивая свою замороженную талию,
собирая золоченую пыль на упорное низколобое
лицо. «Через раму ползи,— сказал я ей, но она
недовольно-утробно рыкнула и снова завозила

грязными длинными крыльями по стеклу.— Что ты мне разводишь тут тигровую мазь, давай тогда облетай...»

Но она еще с минуту притворялась, что не слышит, потом замахала крыльями, загудела и бочком вывалилась за окно. Осы не переносят чрезмерной грубости, но не обращают внимания на легкую фамильярность.

Вслед за ней и я вышел в развевающихся трусах на балкон. Далеко внизу во дворе расселись по художественно подкопченным решетчатым скамеечкам окрестные автохтоны — половина чурки, половина урки — человек сорок, и смотрели, как Лиля, похожая в своей тесной мягкой фольге на две змси, вместе с детьми занимается аэробикой. Этаким пчелиный танец, как посмотришь с голодным вниманием с одиннадцатого этажа, и вообще, Лиля была в межсезонье пицундской царицей. Рабочие пчелки с квадратными абхазскими бакенбардами несли ей компотные банки серо-виноградной сивухи, и гигантские пустотелые лавашаи, и крупные темно-мраморные сколки бастурмы, и рыхлый сыр, и очерствелые сердечные мышцы гранатов...; сивоухие трутни тенористо гудели и толклись за ее спиной своими обложенными синей тренировочной шерстью животами...; детву ее пестовали усатые шмелихи и сухопарые шершеневки в вековечном побровно-поскульном трауре. Весь двенадцатиэтажный улей жил ее мановением, сторожил движение ее

рослой ноги, сейчас же взметывающее весь пыльный рой — уж тут на халяву не побортничаешь.

Наискосок осыпался дождик. «Дети, *по номерам!*» — тоненько прокричала Лиля на тему судьбы. Дети наскоро рассчитались и засемили под крышу, — а ее голос поднялся по десяти ступеням поперечно располосованной солнцем продольной воды и осел, онемело покалывая, у меня на переносице. Я вытер лицо, поглядел сквозь пальцы на вызолоченные волоски дождя и пошел спать.

Море гоняло по себе большие колеса из колючей проволоки. Колеса доезжали до склизких мохнатых свай волнореза и — запутавшись, сломавшись, смявшись — падали. У основания ближайшей сваи лежал по пояс в воде свинцовый поросенок с раскрытыми безумными глазами. Над кромкой пляжа металась длинные ромбы птиц, медленно переламываясь по малой диагонали. На хороший закат, судя по всему, рассчитывать не приходилось.

На губах у меня был вкус пота, и прогорклого дикого меда, и осинового грязного воска. Мгновенно стемнело. Ослепительная луна вынырнула из моря, стряхивая колючие клочья. У меня за спиной тихо засмеялись.

ТРЕТИЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

— Завтра вечером, примерно так между семью сорока и девятью десятью, помолись за меня,— сказал я поэтессе Буратынской.

Поэтесса Буратынская всеготововно кивнула и честно поглядела в сторону своими прозрачно-голубыми глазами. Клинок ее носа блеснул в лучах заходящего солнца, превратившего Марсово поле в сложную комбинацию нестерпимых шарообразных сверканий, а черную воду канавок в простую последовательность тускло-багровеющих треугольников. На углу у Мраморного дворца ждал нас с надутыми губами Циця в расстегнутом волосатом пальтеце, озабоченно шуркающий лобастенькими ботами протершиеся сквозь свежераззолоченную ограду музея революционные листья. Один, особо пунцовый, невообразимо закрутившийся пятью перепончатыми иссохшими лопастьями, выхватил я сзади у Цици из-под ноги и воткнул ему кривым плоским черенком за мягкий околыш синего картузика. «Пурпурная роза каэра,— сказал я, любуясь на Цицю.— Хоть сейчас же прям замуж выдавай».

Циця растер лист маленькими железными пальцами и осыпал его пламенеющий прах на мо-

стовую. «Вот ты мне лучше скажи, — и он пережевнул желваки в твердых щечках, — чем отличается гондон от чуингама?» И коварно не давши нам с поэтессой Буратынской поразмыслить, торжественно объявил: «Чуингам — это резинка *жевательная*, а гондон — *желательная!*» Поскольку Циця произносил «*в*» и «*л*» совершенно одинаково, максима эта востребовала вторичного воспроизведения с мученически учётченной артикуляцией и даже написания ключевых слов кирпичным сколком на фасаде.

«Вы заходите, — сказал я, — мне еще надо позвонить».

Они завернули в просевшую подворотню, а я пошел дальше по Халтурина, сжатой в кармане ладонью ощущая жесткое узкое тельце двух копеек. Сойдя одною ногой на проезжую и оглянувшись, как Сева, налево, я увидел нос — единственный боковой клычок в старческом рту подворотни. Нос приветственно-искренне засмеялся. Я погрозился кулаком с двумя копейками и побежал наискосок через улицу — к зеленой будочке.

Салон в подлестничной квартире, съемной от загульного дворника, держали Михаил Гекторович Экторович, *лицо, известное в городе* (так он сам при церемониальном знакомстве аттестовался), и две его юные подружки по лимиту, — сейчас их звали Люся и Люся. Кроме Люси и Люси присутствовали также Ляля, Лиля, Неля, Лёля и Гу-

баша — рослые девушки в свободных платьях. Задушевный курчавый чукча, подкачивая себе в противотакт древнеримской сандалеткой и отворачивая от гитары лицо, сбегаящееся со всех сторон к кончику носа, сипло пел песнь *Ах как бы мне пробраться в ту самую Марсель*. На Марсели я и вошел. Михаил Гекторович, разводя широко руки и тряся перевитой серыми кольцами бородой, восставал мне навстречу с красного пуфика. На его известном в городе лице блестели ласковые глупые глаза. Он сжал мою руку двумя теплыми выпуклыми ладонями, и я уселся в углу, как кузнечик, на пол. Лиля — или нет, кажется, Лёля — сунула мне чашку с *марсальским*, похожим цветом на фурацилин, но пахнущим, как двухдневное палое яблоко. Зажгли свечи. Поэтесса Буратынская, сидя с ногами на подоконнике, принялась задорно читать стихи. Чукча обнял гитару всем своим вогнутым телом и собрал на наклоненном лбу опрокинутую ижицу из плотной загорелой кожи. Но сандалетка его продолжала писать фиту — вот так: Θ.

Утро предложило столь нежные переходы из золотого в сиреневый, столь тонкие из куба в свинец и столь резкие из багрового в угольный, что — после целонощного качания и мигания бесконечно вложенных одна в одну, беспредметно татуированных толстожилистым беломорным дымом, безнадежно покалеченных комнатными углами свечных окружностей — глаза остро зачесались,

прорезываясь. Шедший со мною по каналу фольклорный композитор Фердюрин сказал, что у него взныло ухо, и поставил на плечо свою скрипуче охнувшую чернобокую гармошку. У Дома книги уже топтался, дожидаясь открытия, Циця, добронравно свинтивший с *салона* в полночь. Как ни звонил Михаил Гекторович Цициной мачехе, как ни молил не забирать Цицю в такую рань, но Циця с мачехой стояли на своем: ему еще де всю ночь младенца качать, да зимние сапоги младшóму братцу разношивать. Теперь Циця в зимних сапогах посреди осеннего сверкания и блеска бегал коротко вдоль накладных мраморов зингеровского фасада.

Фердюрин остался с Цицей, заинтересовавшись разницей между гондоном и чуингамом, а я поехал в пустом задыхающемся троллейбусе по Невскому до площади Восстания, которая, как известно, содержала в сáмой своей середине круглый (что бывает только в России) неогороженный сквер. Итак, у Менделеевской аптеки я вылез и с сомнением поглядел на мирно розовеющие по отдельным верхам и рыже-черно мелькающие по слитному низу купы, отрезанные от постепенно расчихивающегося мира скверным (что бывает везде) кругом безостановочного движения. Действительно, для чего же еще огораживать? — добраться сюда можно единственно что подземным переходом, которого под площадью отродясь не было, а если был, то не для нас. Или зря я все-таки

вылез? — не вероятнейший ли способ *там* оказаться — расколотить аварийным молотком какое-нибудь из левых окон и выкинуться фюзбери-флопом, пока троллейбус себе катит впритирочку мимо? Я обошел раза два вокруг площади и от узкого устья Староневского хорошо разглядел злую вокзальную старуху с черным лицом полумертвой голубицы, озабоченно перетирающую и сортирующую на застеленных мешковиной скамейках свой ночной сбор. «Горлинки мои», — гулькала старуха, расставляя белые, зеленые и темно-янтарные двойными шеренгами — по пять на руб двадцать. А как же *она* туда попала? А неровно-рыжая девушка с ироническим скосом сухого еврейского рта, что (наклоненные плечи, руки в карманах плаща) прислонилась ягодицей (превращенной этим из круга в треугольник) к толстому завитку скамейной спинки (качает остроносым башмачком)... — а она как? Я подумал-подумал, раскинул руками, оборотился в неопределимую изнутри птицу и, тяжело махая крыльями, перелетел через скрипуче охнувшую перед светофором желтобокую гармонику тридцатого автобуса. Из одной особо прокуренной липы выкувыркнулась чубастая ворона, встряхнулась в воздухе, перевернулась еще раз и неожиданно солидно поныряла прочь по Лиговке, держась сужающейся середины трамвайной аллеи.

В бабушкиной комнате телевизор заиграл *По-*

году. Через окно шла со двора расслоённая и раскрошенная тюлем белая полоса. Я смотрел на равномерно осевшие и почти исчезшие груди (возле каждого маленького заострения торчало по изогнутому жесткому волоску), на так и не разогнувшиеся плечи, на низкие веснучатые ключицы, на ненавистное сухое лицо с никогда не закрывающимися бесцельно-насмешливыми глазами...

Благая же часть — расстаться с невинностью на диване, на котором по всей вероятности был зачат. Да к тому же еще молитвами поэтессы Буратынской.

ПЯТЫЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

В высоком закругленном окне медленно оплыла водоросль сумерек. Там, промеж ее матовых извилин, из личинок снега на лету выводились червяки дождя и со стуком и скрипом ползли вниз по стеклам. Мое лицо вылезало из диванной подушки блестящее, осевшее, дырявое. Между кожей и мясом по всему отдалившемуся телу вслоилась непроницаемая горячая пленочка. Вдоль груди тихо и узко гудело. Вверху горла narосли толстые короткие волосы, щекочущие и задыхающие. На ближней стене, вложенные один в один, сжимались и разжимались темные, золоченые кружки какой-то иконы, перед которой на узкой полке горела лампочка от фонарика, прищипленная к рогатой батареечке и разложенная моей близорукостью на вписанные в большой круг желтые мигающие точки. Соня— *московская кузина*—металась по огромной, в остальном еще бессветной квартире, то мелкосерийно роняя что-то чугунное на далекой кухне, то тягуче хлеща в противоположной ванной обвисшие щеки близнецов Вени и Вити, вздумавших сравнивать свои письки, то долго прикладывая озабоченно неподвижные холодные губы к основанию моей шеи у правой ключицы. Иногда она обрушивалась на низкий диван

(меня приподымало на другом конце) и, запахивая халатик на тесно сведенных и косо приставленных к полу белых ногах, ругательски ругала или меня, появляющегося к родственникам только когда заболелю (что неправда—Москва и ангина для меня синонимы, а в этот раз я просто попался на дежурном визите), или «этого уголовника Гриньку» (впрочем, честно отсидевшего пол-срока и вернувшегося по амнистии). — «Нет, ты подумай, я его еще утром послала на Ленинградский рынок для тебя за гранатом и к Свете в библиотеку за горчишниками, а его еще нет как нет! Ну как такому человеку можно верить!? Наверняка опять с дружками в церковь завалился!» — «Верить ему нельзя, и даже дважды—и как *вору прощеному* и как *жиду крещеному*», — сказал бы я—немо и медленно, потому что каждое мое слово, протащившись меж мелко изрезанных гуттаперчевых валиков миндалин, выползало бы наружу длинное, плоское и шелестящее, как газета—но московская кузина, смеясь, положила свежо и тонко пахнущую водопроводом ладонь на мои шелушенные губы.

Зима удалась гнилая как никогда, и московские кривые кольца были в коричневой суспензии по щиколку; и волглые деревья не отзывались на прикосновение; и человечество в кроличьих шапках, змеясь, расставалось со своим прошлым на брусчатой площади, в слякотных торговых амба-

рах и в освещенных провиснувшими тускло-багровыми цепями елочных загородках; и грязные хлопчатобумажные голуби с зелеными шелковыми шеями бегали в подземных переходах, оскользаясь; и даже воробьи кашляли; и все плыло. Меня, конечно, погубили книжные магазины—выйдя из Столешникова на Петровку, я был еще здоров и весел, а на Кузнецком мосту уже не мог левым горлом сглотнуть снежного мусора, поналетевшего в рот. Зато я купил китайскую книгу в букинистическом отделе *Лавки писателей*—на шероховатой малиновой обложке был нарисован вытертым золотом длинноглазый и длинноносый старчик в халате.

Совсем стемнело. Окно занавесило зеленоватой пургой, сквозь которую смутными низкими углами светились лучевые руины стадиона «Динамо». Близначев прислали ко мне пожелать спокойной ночи—они, пихаясь и хихикая, шаркнули одинаковыми толстыми ножками издали от двери. Дядя Ханания, серый кардинал Госплана, уже вернулся из какой-то своей знаменитой комиссии и, тиская кожу под сердцем, морщил маленькое бровастое лицо над завтрашней газетой. Кузина ворвалась, включила надо мною торшер в дырчатом абажуре (защелкавшем мелким бисером во множестве африканских косичек) и оказалась у бедра с тазиком разведенного уксуса. Смоченным в нем полотенцем она обтерла мне лицо, и кожа блаженно разошлась, и пленка под ней раствори-

лась, и стертые кости лба, подбородка и скул задышали насквозь. Потом она встала коленями на диван, закатала мне майку до упора, и свирепо приговаривая *Какие уж церемонии между родными*, стала протирать подмышки, грудь (с интересом подковырнув острым мизинным ногтем прилипший у левого соска длинный волос), бока и стекший с подложечки бледный живот. Я потянулся привстать—она толкнула меня кулачком в плечо и снова опустила сморщенный, согретый край полотенца в тазик. Потом оттянула резинку трусов (я попытался было выгнуться, чтобы дognать свою резиночку беззащитным полусоженым пахом, но получил еще один тычок, на этот раз под ребро, и с концами обвалился) и любознательно заглянула. «Всё на месте, всё как было», — известила меня милая моя кузина с деловитым московским распевом и поплескала рукою в тазике, поставленном прямо на алые и рыжие разводы вытопанного персидского ковра. И плашмя просунула свою мягкую, свежую, сильную ладонь. Я, закинув затылок за край диванного валика, считал короткие горячие мурашки перед полузакрытыми глазами и холодные длинные под полуоткрытыми трусами. На семнадцатой и четвертой меня злорадно зазнобило. «Ого, — удивленно адресовалась ко мне Соня. — Всюду жизнь!» Еще выше оттянула резинку, приложила прохладную полную щеку к низу моего живота и вдвинула лицо поглубже. Пошевелила там своим твердым,

холодным, изогнутым вверх клювом, снова выпрямилась и, зацепив у себя что-то на бедре, перекинула через меня изумительно ловко высвобожденную, хлесткую, матово просветившуюся, по лучшим парижским лекалам нарисованную ногу. Я приподнял голову из-за валика. Резкое ее лицо быстро наклонилось и уронило из своего рта в мой две продолговатые немящие и холодящие (куда еще?) пилюли. Мое бездыханное горло мягко заледенело вокруг соленой продольной щели и по срединной грудной трубке соскользнуло в самый низ. Слава Богу, она заслонила этот дробно-дырявый торшер своим большим еврейским телом и своей маленькой египетской головой с низким ровным лбом и заложенными за уши темно-блестящими волосами, — и мои глаза перестали болеть.

«Как всегда не вовремя», — сказала она погодя и одним движением соскочила с седла. Левою ногою она прыгала в тапке, правою целила в шелковую смятую дырку, левою рукою трогала мой лоб, одновременно на него опираясь, а правою то помогала соответствующей ноге, то сворачивала вниз мою майку — впрочем, всё это без особенной спешки. И уже низкий голос ее звучал в прихожей. Надеюсь хоть, русский бог не обиделся на наши еврейские водевили.

— Что Борьчик и Глебчик, уже спят? — бодро интересовался дважды перекованный Григорий, выворачиваясь из пальто. — А родственничек?

—Ты бы еще завтра явился!.. Пстой, а горчишники где?

—Ч-черт!—и Григорий испуганно перекрестил повисшими на руке драповыми отрепьями свое узкое трехступенное лицо с двумя волосяными крюками сверху и снизу:—Ты куда?

Кузина Соня уже натягивала пернатую шубку прямо на халат:—Куда-куда... Пойду искать Свету, она сегодня, по-моему, в вечер...

Вышел, слепая, встревоженный дядя Ханания: «Что, Сонечка, Алику плохо? Может, по спецномеру «Скорую» вызвать?»

—Ничего-ничего, папа, не волнуйся. Ему уже лучше—он только что пропотел.

И так оно и было. ...Хотя, конечно, это мне́ лучше было бы пойти поискать Свету. Но я не знал, где в этом генеральском домоуправлении размещается красный уголок.

ПАРОХОДНЫЙ РАССКАЗ

Тошнить начало под вечер. Пришел матрос и выдал всем по неровно-плоскому, внутри хлюпающему, снаружи обтекающему, темно-зеленому, продольно-проморщенному огурцу. Четырнадцать девушек одновременно растянули вширь и вперед карминные губы и хрумкнули. И семь двухэтажных коек сызнова со вжиком задернулись веселенькими занавесочками. «Спасибо, я предпочитаю свежепросольные,»—сказал я, высовывая волосатую голову из-за шторки. «Блевать на хуй будешь!»—грозно-профетически протрубил огромный матрос: «На Онежском-от ваши бля всегда сблёвши!» Я подозрительно выбрал огурец из самых маленьких и плотных, какие только еще кувыркались в желто-зеленой водичке двуручной шайки, по-разнощичьи потрясаемой вахтенным самаритянином, и мелко укусил со скрипом прыснувший огурецкий загривок. Иллюминатор выходил на нижнюю палубу и через нее на незримое глазу, но внятное диафрагме Онежское озеро. Озеро катилось вверх. Диафрагма за ним. Капитанская дочка лежала на широкой спине, подняв и раздвинув туго обвернутые синим коттоном колени, задумчиво глядя на капающую полупустую половинку соленого огурца, покачивающуюся на

приколе меж двух ее просторных ногтей—длинно закругленных, с мельчайшими фольговыми звездочками по нежно-фиолетовому полю, на воле загибающихся вниз, немного даже светящихся во тьме занавешенной койки. Я сидел у нее в ногах с ногами и ни за что не хотел возвращаться в мальчиковую каюту, где в довершение всех неприятностей еще и пахло носками. (—Отчего же, в том числе.) ... Ах, капитанские дочки, капитанские дочки, вам и по сей час я признателен нежно, крашенные в солому жизнерадостные исчадья южного побережья! Вы кормили меня четырехдневным мраморным винегретом (который я ненавижу), одолжали мне наследственные тетрадки с лекциями (которые я забывал по экзамене в парте), укладывали меня с собою в узкие казенные постельки, щедро делясь помадой своей французской—до сих пор не могу отлизаться от ее пригоркло-медовой вощаности. А иногда не укладывали, за что особо низкий поклон веселой вашей доброжелательности—так, слава Богу, и не узнал я, что такое триппер, не увидел, теряя сознание, эту страшную стеклянную трубку неспешно вдвигаемой безжалостным провокатором в мочеиспускательный несчастный канальчик. И поблевать вы меня пускали к себе за занавеску, когда Онежское озеро вставало стоймя над трофейным «Владимиром Галактионовичем Короленко»;—вы, милые маслинноглазые и яблочногубые дочери теплых

морей! никогда я к вам не избуду своей благодарности...

Звали их всех, конечно, Машами, и путешествовали мы по Мариинской системе. У нас была *плавательская практика*.

В жемчужном тумане стоял теплоход (только единственно лишь для красот слога поименованный ниже и выше *пароходом*) у полуразобранной пристани. Деревья были по множественно пробитую грудь в опущенном небе, и вышки окрестных лагерей впальми желтыми пятнышками висели над ними. Туман был такой, что казалось пахло горелым. По нижней палубе я волок с камбуза гигантскую тусклую кастрюлю макарон по-флотски—завтрак команды на неспешно наступающий день. Беглые зэки в длинных лодках выныривали из тумана у самого борта спящего «Короленки», беззвучно сверкая топорами. Какая-то маленькая сволочь хрюкнула в скособоченных досках пристани и пролетела сквозь пароход, истерически хлюпая перьями. В мариинской каюте играло *Джулай морнинг*, и это уже было правдой. Я пинками втолкнул кастрюлю на середину светелки, и мы стали есть макароны по-флотски, как узбеки плов по-узбекски. Четыре девушки медленно топтались, неплотно обнявшись, вокруг кастрюли. Еще восемь хлебали желтое вино из чашек и сыпали в сверкающие рты неперебранный жемчуг

рубленых макарон. Я задернул занавеску и стал сворачивать с капитанской дочки штаны. Она беззвучно смеялась, приплющивала коренастый указательный палец к носу и тыкала им в испод верхней полки. Штаны дальше коленей не сворачивались. Наверху какая-то сволочь хрюкнула и хлопнула. Я пал утомленный на слабую грудь моей испуганной красавицы.

«Машк, спишь?»—«Ну.»—«Ну спи, дура! ...Машк!»—«Ну?»—«А чего мы не едем?»—«У капитана спроси.»—«...Машк!»—«А?»—«А правда здесь на пароходы нападают? Этот, ну, Юрьев, говорил...»—«Тю-у, глупая, та он же тебя покупал...»—...А корабль вдруг заурчал, мелко задрожал и вроде сдвинулся. С его труб, крича и переворачиваясь, слетели черные задымленные птицы. Восток был по узкому низу рассеянно-золотой.—«Машк, у тебя голова кружится?»—глухо спросили сквозь верхнюю койку.—«Ну кружится.»—«А ты попробуй на живот лечь. У меня на животе почти не кружится.»—«Ну что ж, попробуем...»—сказала моя, нижняя, Машка и с кряхтением и смехом стала поворачиваться. То есть мы стали поворачиваться. В иллюминатор сыро забарабанили с палубы. Это пришел вахтенный за макаронами. Его бородатое лицо приплющилось к пыльному двойному стеклу, но не казалось сердито—только громадно и бледно. Девушки босыми, оперенными перламутром ногами

вытеснили волшебный казан за порог и повизгивая заперли дверцу. Вахтенный поскребся неуклюже, подышал и уволокся с добродушно-металлическим скрежетом кастрюльных уключин.

Для зачета я должен был отстоять ночную вахту в рубке. Матрос неподвижно темнел у руля, громадными кулаками держась сверху за его рога. Мы входили в Рыбинское водохранилище. На единственном стуле в углу, прикрывши половину лица носовым платком, дремал капитан—старый ехидный еврей, отработывавший по летнему сезону свой пенсионерский месяц. Я потоптался-потоптался, наскучил молчанием, да огнями мимохожих буксиров да густо-фиолетовым загибающимся небом и оперся сложенными руками и подбородком на столик с картой фарватера под толстым теплым плексигласом. Мне снилась темнота, и утонувшие деревья, и огни, и снова темнота, и одновременно купол вытегорской церкви, сверкающий навстречу полудню новеньким листовым железом, и полнощекие, сейчас посвистывающие южными аденоидами в каюте четвертого класса красавицы—им жарко, они высунули румяные крупные ноги из-за своих занавесок и (те, кто на нижних койках) поставили их охлаждаться на пол (а сверху никого вовсе и нет—шептались-шептались, да и дошептались)—, и опять жемчужный туман над полузатопленной пристанью, и почему-то поэтесса Буртынская, взлетающая с

крестовины недоразобранного сарая, и беглый зэк, покачиваясь на невидимой в тумане лодке, ссыпает с топора в мохнатый рот макароны по-флотски, и начинает тошнить, и...—«Молодой человек, вам, может, лоцию дать? Вы, я смотрю, очень фарватером интересуетесь...»—Нет, еврейский Нельсон, не нужна мне твоя лоция, засунь ее себе в жопу. Оно будет попроще, чем девушке, у которой ниже колен не сворачиваются штаны, а она только смеется и что-то тихонько поет, опрокинув лицо.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Мне выдали красную повязку и свисток. Милиционер, похожий на грузина — да он и был грузин — без акцента, но со сдержанной страстью бубнил: «От сада «Олимпия» — к распивочной на углу Пятой Красноармейской, посмотрите, не распивают ли там. А затем...»

Я сидел у зарешеченного окна на теплой изрезанной лавке и читал «Книгу задержаний». В ней было написано: *«17.30. Задержанный Баймухаматов Ш. Г., 1954 г. р. Занимался в саду «Олимпия» онанизмом (дрочил). Старший дружины Здренко»,* и — другим почерком, лиловым, наискосок — анонимная загадочная надпись: *«Приведен в исполнение».*

— А если преступление какое, грабят кого или насилят — чо делать? — перебила грузная тетенька в изумрудном пальто колоколом, желтоволосая, постриженная под горшок.

— У-бе-гать, — твердо ответил милиционер. Тетенька вздохнула и кроткими толстыми ногами затолкала под стул свои четыре сумки. Армянин Иванов (с неровным длинным лицом, по которому от тугого венника волос до извилистого подбородка безостановочно сбегали грачиные глаза) морков-

ными руками плотно потер себя по таким же ушам. Литовка Сваюна надела розовую пуховую шапочку с трогательно свалявшимися темными перушками. Еврей я, притискивая плечо щекой, завязал повязку на правом рукаве, — и мы пошли.

В Угловом переулке стоял с прихвостнями дождь углом. Тетенька, накрыв голову полиэтиленовой мутной треуголкой, коротко запрыгала по мелкозрывчатым лужам во Фрунзенский универмаг, похожий на гигантский полуразобранный ящик гранат-лимонок. Скоро она и вовсе исчезла зеленым пятном в косо подскакивающем на месте крупнокапельном облаке, где в каждой отдельно темнеющей капле тихо разгорался на понуром стебле желтый фонарик, — а мы всё еще не выходили из подъезда: «Ну, берем две — или четыре?» — спросил армянин Иванов. «А не много?» — усомнился еврей я. «Сколько я тебя знаю, ты всегда говоришь, что много, а потом всегда оказывается, что мало», — траги-иронически глядя в сторону и вверх, сказал Иванов. «На меня не рассчитывайте», — сказала еле уловимо шепелявящая Сваюна. «Тогда ты пойдешь», — сказал я, растаскивая на правом рукаве красный бантик. — «Сам пойдешь».

Ближайший магазин был на углу Углового и Московского. Маша холщовой сумкой и высоко поднимая длинные худые ноги, Иванов побежал по белым и малиновым квадратикам кафельного

пола — точнее, по неравномерно-черной, стекающей в кляксы воде, — мимо субмарин голубой колбасы и ледокольных носов краснокожего сыра, мимо только что изнасилованных розовых куриц, мимо чего-то пестро-серого — сухого и дробного — насыпанного в наклоненные цилиндры бакалейных склянок — к «Сокам. Водам. Винам. Шампанским». Иванов спешил, так как до закрытия винных отделов оставалось семнадцать минут, а ему надо еще было сравнить наличествующее с ассортиментом на углу Шестой Красноармейской и Московского, на углу Восьмой Красноармейской и Московского же и на Измайловском, а также в фирменном гастрономе «Стрела».

Помимо того, Иванов дополнительно спешил, так как нехорошо тянуло под ложечкой, поскольку я остался с литовкой Сваюной на едине и последнем полумарше тихой темнеющей лестницы, и, следовательно, мог ее трахнуть, приподняв сухую электрическую шубку вместе с клетчатым подолом шерстяного платья и приспустив матовые колготки и жесткие голубые трусики до мелко забрызганных двуугольных сапог, на что Иванов, признаться, рассчитывал сам.

«Какие же эти русские все-таки алкоголики», — думала Сваюна про нас с Ивановым, проходя по пустому кондитерскому отделу фирменного гастронома «Стрела». Думала она по-русски, потому что никакого иного языка еще не зна-

ла, а только начала по молдавскому учебнику учить румынский. Ее широкие гладкие брови двигались, сопровождая серые зрачки по застекленным прилавкам — с одного тортика, обсыпанного мягким ореховым крошевом, на другой, обложенный листьями и лепестами из зеленого и розового мерзлого масла. Ее подбородок налезал на рот, где толчками вращался леденец. Тонкое в нежных морщинах горло изредка быстро сглатывало. Она улыбалась, вспоминая, как я положил ей в автобусе руку внутрь шубки на живот, и думала, что я, наверно, ласковый и неловкий, как нежный зверь, хоть и еврей, и что мне можно было бы дать, если бы завтра уже не приезжал Думитру; и что, интересно, ему сказала мамаша-сука; и что надо, пожалуй, оставить одну бутылку на завтра, но уж, конечно же, не портвейна, румыны не пьют портвейн, но с другой стороны, сам что-нибудь приволочет из своей сраной Плоешти, а ей надо выбрать поскорее между вот этим, обсыпанным, и этим, с розочками,

и пускай Иванов сердится сколько хочет, что она взяла только два флакона — они все-ж-таки не румыны, пить не умеют — нажрут, пойдут смеяться под дождем, попадутся дружинникам из другого учреждения, мент-гурзо напишет на работу, в лучшем случае отгул за сегодня аннулируют, а ей еще надо постирать, все убрать и помыться, особенно здесь, потому что Думитру приедет и

сразу же начнет все время трахаться, и времени уже не будет.

Я медленно шел навстык дождю, пытаюсь к нему приспособиться боком, но проворачивался внутри долгополой нейлоновой куртки, присланной из Цюриха добрым доктором Шапиро пленному во Эдоме чаду Израилеву, и глубокий пристежной капюшон заслонял мне глаза. Оставалось идти прямо, но сильно наклоняясь и видя свет фонарей и светофоров разложено отраженным во взмыленном блестящем асфальте. Однако проклятый капюшон стоял, как ложка, и тяжелая вода понабивалась в мои лобовые волосы и радужными сизыми сгустками заползала в очки. Вообще-то я люблю дождь в городе — он создает на улице тишину, но с другой стороны, как-то это выходит в результате чересчур мокро. Асфальт подо мной засиял и задымился белой полосой, а над нею, как дерево из белых искр, дрожал дождь. Я приложил лицо к холодной жирной витрине: и как раз из толпы, над которою косо торчали машущие руки с чеками, вытиснулся боком чернобровый мужичин в коленкоровой шляпе. В каждой руке он держал, пропустив темно-зеленые горла меж согнутых пальцев, по две прямоплечих бутылки — на белой наклейке три больших синих семерки, неслыханное везение. Я вздохнул и зашел в магазин. Пока подползала к кассе очередь, тревожно-радостно

оглядывающаяся на пустеющие ящики (разоренные гнезда в крупнонарезанной соломе), я, вертя тонкогубый свисток в кармане, думал о том, что жена Иванова — Гаянэ, сокращенно Гайка, а литовка Сваюна — сокращенно Свайка, и как он между ними скачет, бедный, — как какой-то голенастый сложный реверс, похожий на кузнечика; и бывают ли кузнечики брюнетами; но рукава-то и штанины у них точно всегда слишком коротки, и скрепления скрипят и щелкают; а как им не скрипеть и не щелкать, после молдавского розового — по рубль восемьдесят семь, если я только не ошибаюсь, когда сейчас это через одиннадцать лет пишу в позднебарочном замке на окраине сжатого горами длинного немецкого города, а за моим окном ночь — смешанный свет луны и белых фонарей и зачесанное вниз дерево, похожее в грозу на белый беззвучный взрыв.

ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

Кабы вы только знали, как трудно ночью в отрубленной от тока квартире точно угодить навесом — даже навести по звуку — в гулкую дырочку на узкой невидимой ступеньке: — в убогое начало пустотелого стеблекорня свинченной...— нет, срезанной! нет, сорванной! нет, срубленной! нет — сбитой, свороченной и сволоченной — некогда недвижно здесь плившей белой — (белой?) — толстофаянсовой кувшинки! Кабы вы знали, как трещит и пляшет моча на цементе, рассевая невидимую горячую пыль! И как — наконец-то попавши — срывается она с жестяным облегченно-сосредоточенным бу-бу-бу в безвоздушную внутренность Земли, в Елисейские Поля всех родов своих и племен от начала мочеиспускания.

Марьина Роща, Марьина Роща...— хасидские свечки медленно пляшущих тополей, воздух в медленно плывущих волосках, медленно облизанная бедность, слегка аптечный запах усохшей малины... Я запал в расселину твоего навеки расселённого дома, только оттого лишь, что капитанская вдова оказалась неожиданно солдатской матерью. Она всё ездила *в часть* с кульками, а затем привезла на пыльном такси сыночку — чер-

новолосого, наволосо стриженного косой машинкой, по-красноармейски накосо глядящего в сторону и вниз. Сыночка отслужил два года и вернулся, а мы с Ильюшей Хмельницким, перечитав за три московских наезда по четыре романа Эриха Марии Ремарка, пошли на фиг искать углы. Находчивый Ильюша нашел первый — у жены, причем своей, хотя и будущей, хотя и будущей бывшей. Меня же, вышло, поджидала Марьяна Роща.

Здесь мне зажилось веселее, чем даже у удмуртки.

Удмуртка была кандидат наук, имела крепкие красноватые скулы на ногах и пила горькую. Красный дом ее в оны годы выложили из обветренного кладбищенского кирпича пленные фрицы (видать, попались бессознательные сочувственники баден-вюртембергского рококо, курицыны дети). Сразу же за последней его наугольной колонной начиналась безграничная степь, куда уходило Варшавское шоссе и откуда приходил любовник Володя.

Любовник Володя растирал тяжкими руками свое медленно краснеющее лицо с отдаленным намеком на народную хитрожопинку и ругал удмуртку татаркой и фальшивоминетчицей. Потом они заходили в комнату, а я, лежа в прихожей на рыжем деревенском коврикe с фаллической символикой, слушал, как они неторопливо дерутся. В середине ночи он уходил, вежливо переступив через меня бензинными ногами, а удмуртка в длин-

ной ночной рубашке и в кружавчатой шали на маленьких, мускулистых, побитых плечах шла, пожурчав над моим ухом, пить на кухню чай.

А вот теперь еще Борис Понизовский, абстракционист жизни, заселил меня в Марьину Рошу

Какать я ездил на Рижский вокзал, или же на Белорусский;— так это мне обусловил перво-скваттер Миша Жвавый — признанный мастер подпольного театра теней, иной раз упражнявшийся здесь в показании художественной фигуры китайскому фонарю. «Старик,— сказал он мне при вручении ключа,— если б не уважение к гениальному Борису, я бы вас, конечно, не пустил в свою творческую мастерскую. Но какать ездите, пожалуйста, на Рижский вокзал. Или уж на Белорусский, как захотите. Дом отключен, и если пронохают...— и он пошевелил членистоного всеми двенадцатью своими волшебными пальцами: — Лично я предпочитаю Рижский, он как-то уютнее». И вот, покуда счастливчик Хмельницкий и его будущая неверная жена в свежезданной и сданной кремовой крепости на Большой Грузинской кушали чай «Бодрость» с печеньями «Юбилейное», я, аки тать в нощи, крался по низкорослой улочке мимо страшенных пустоглазых троллейбусов, криво осевших на обочине; через хрустящий черным стеклом пустырь, фосфорно светящийся под узкой луной крупноколотым уни-

тазным фаянсом; и: по невидимой лестнице — три спички пролет — на самый что ни на есть верх.

Зажмурив глаза и щупая воздух руками, я пробирался в комнату, снимал нога об ногу ботинки и, наскоро помолившись Богу, укладывался на сдвинутые ящики, укрытые волосатым прессованностружечным щитом. Небрежно на нем нарисованный Буратино зловеще высвечивался из мрака своим слабо- и неровнозеленоватым контуром. Я клал голову на скатанную куртку и засыпал, засыпаемый меловой пылью с потолка, шевелящегося при каждом подземном содрогании. Круглые коричневые мышцы выходили изучить мою свешенную на пол руку. Она была взвешена и найдена легкой.

Мыться же ездил я на метро и двумя автобусами за ВДНХ, в *моссветовский городок*. Всемогущим именем того же гениального Бориса отворялась некрашенная дверь шлакоблока — родная сестрица моего спального щита с Буратино, а за ней — тишина, чайник, меланхолическая девушка, похожая на кенгуру, день-деньской залепляет из соленого теста коровушек, козушек и круглобродых дударей, закаляет их в духовке, раскрашивает алыми и белыми розами и — по воскресеньям — бережно обвернув зернистой рогожей, отвозит в Измайловский парк, на торжище.

Я стоял под желтым душем и с походом вжимал чмокающую губку в свое жалостно опустевшее

тело. «Скоро вы?» — это тяжело прищлепывала в санузел геральдическая девушка — выплеснуть в свой благословенный цветок какой-то серо-дымящийся клейстер и, верно, приветливо-насмешливо выскалить кроличьи зубы на мою уже час неподвижно темнеющуюся сквозь потно-синий полиэтилен фигуру — затененное кучевое облако в душном душевом треске: «Чайник давно вскипши, и ехать мне пора... Работа такая, к бесу... — ни воскресенья, ни вознесенья!»

Я помогал ей доволочь кули с сахарной пластикой до подряженного в соседней булочной кули — сонного корейца на грузовом мотороллере с почти что в данном случае честной надписью «Хлеб», отчихивал выхлоп и садился в обратный автобус.

Размыленная невидимыми облаками марьино-рощинская луна просачивалась волнистым лучом сквозь оконный угол, очищенный приотклеившейся газетой «Литература и жизнь». В кривом треугольнике на стене задерганно кружились позаброшенные Мишей Жвавым тени. В официальной обстановке он их принципиально не отбрасывал. От скромных плэйбоевских зайчиков ранней юности до нонфигуративных композиций позднего периода, все они медленными рывками двигались, проскакивая друг сквозь друга, по сложной очереди то исчезая во мраке, то возвращаясь в свет. Я засыпал, и луна на цыпочках уходила.

ПЯРНУССКИЙ РАССКАЗ

«...Отчего, интересно, дураки так любят Пастернака, а бляди — Цветаеву?»

— Миша, дайте, пожалуйста, прикурить, — попросила сутулая Зина, прижимая к губам судорожную руку с сигаретой «Таллин», наполовину торчащей из вяло скрюченного межпальчья.

Миша Архангельск, полный юноша, похожий лицом на белого песка, глянул на нее глиняными своими глазами и с анекдотически-еврейским акцентом участливо откликнулся: «От хуя прикуришь». Кстати, во всю последующую жизнь так он, бедный, и не избавился от сей принятой *в порядке стибалова* манеры общалова, и даже когда через пару лет (за финансово-экономические успехи изгнанный из одноименного института) сделался, к ужасу своих архангелогородских мамелэ и папелэ, водителем ленинградского троллейбуса № 10, объявлял он остановки не иначе как всё с тою же неискоренимой интонацией: «А следующая остановка — Гостиный Двор?»

Подняв колени и чиркая через шершавое полосатое полотно ягодицами по ледяному песку, я тихо покачивался в расползающемся шезлонге и глядел на Балтийское море. В сущности, это море глядело на меня, удобно расположенное в своем не

полностью заполненном амфитеатре, и свет медленно гас, и только разбитая красная лампочка справа обозначала запасной выход, а белая дырочка посередине готова была дать свет на сцену, и море позевывало, поерзывало, пошуршивало, по-смаркивалось и тихонечко уже начинало поплескивать, намекая, что пора бы, дескать, и начать. Что бы этакое показать ему сегодня? *Придается всё, лишь тебе не дано примелькаться*, как сказал Ильюша Хмельницкий. Само собой очевидно! — когда же это и где публика примелькивалась актерам? Она с самого начала на одно страшное, темное, слитное лицо.

Сутулая Зина плакала за моей спиной, как лось. Толстые девушки, шипя, утешали ее, худую. Миша Архангельск совсем заскучал. «Где Гриша Харьков, где Фима Киев, где Леша Баку, где люди? Где Бирюлька и Зародыш? — тоскливо думал он с анекдотически-еврейским акцентом. — И где эти никейвы Регина и Жанна? Откуда набежала уже вся эта неполовозрелость, с которой я должен убивать свое бесценное лето?» Он пополоскал себя ладонями по джинсовой заднице и неслышно шаркая пошел к морю, навстречу покойному Захару Исаевичу Гольдбергу в белой панаме и покойному Анатолию Максимовичу Гольдбергу в округлой «Спидоле». «Ты еще не слышал, Миша, что мой братишка опять выкинул?» — спросил

Захар Исаевич. — «А что, он опять уже был в положении?»

Захар Исаевич поставил заикавшего Анатолия Максимовича на передовую скамейку и цепко пожал Архангельску пластилиновую руку: «Как заслуженный конферансьё республики выражаю тебе, Миша, благодарность партии и правительства». Архангельск подхватил «Спидолу» за плоскую полукруглую ручку, и они пошли, бесе­дуя, по краю закатного луча в сторону женского пляжа.

Женский пляж полтора часа уж как закончил работу, если считать это работой, и до утра утра­тил заповедный характер, но какая-то запоздалая весталка, похожая на сборную пирамиду из уменьшающихся кругов, яростно протирала себе поперек натянутым до дрожи полотенчиком. Уви­дев Мишу и Гольдбергов, она пробормотала *Кур­рат* и — мелко переступая опрокинутыми (но цельными) пирамидами ног — переверотилась к ним (не оставляя протираться) кучевыми облака­ми спины и задницы (в петлистых разводах, жел­тых и синих). Маленький ангел в замшевых шта­нишках, засевший за дюной под серо-серебристой волной высокой узкополосой травы, с подгребом задрыгал ногами (руки его были заняты граненым перламутровым биноклем) и не поворачиваясь прошебетал шепотом: «Шура, Шура, иди скорее, тут у тетки пизда!» Тонкошей Шура Шуман си­дел к морю спиной и глядел недоенными глазами

на уже зажегшиеся окна курзала. Он не хотел смотреть — он был старше и переживал всё значительно острее. Но однако же медленно опрокинулся на спину, перекатился на живот, плавно мотнул голову, откидывая желто-серую челку с бровей, и вынул биноклик из расцарапанных маленьких рук.

В курзале собирались танцы. Женщины в кольчатых прическах и в тяжелых узорчатых платьях входили, празднично поблескивая ртами. Мужчины, оглядываясь, шли за ними. Баба Тася сидела расставив колени у колонны и надзирала, как бы кто без курортной книжки не пролез бы. Регине и Жанне и легендарному Грише Харькову это как-то в свое время удавалось, но не Ильюше же Хмельницкому — его уж баба Тася знала как облупленного, еще недовылупленным наглым цыпкой в детских цыпках ловленного-переловленного в кинозале (вылуплявшегося из-за душной дверной портьеры на строжайше для взрослых *трагическую историю любви проститутки* производства ОАР); да и что, на милость скажите, московская наглость перед харьковской? — так что он и не залупался даже, а безвылазно играл в бадминтон на спортплощадке, пока не наступала совершенная летняя тьма и волан не превращался в свистящую смутную черточку над невидимой сеткой. Тогда Ильюша вытирал рубашкой лицо и подмышки, надевал ее, рубашку, на опустошен-

ное, мнущееся в сочленениях тело и уходил — сквозь корпуса санатория «Сыпрус» или через пустырь к углу Ньюкогуде и Тамсааре, где встречался со всей непоповозрелой гопой, если она сама не заходила за ним на площадку, и мы шли от моря по Ньюкогуде, теряя спервоначала сутулую Зину, которая жила по Тамсааре за «Балтфлотом» с сумасшедшей огромной бабушкой, встречавшей ее словами «Ну что, сволочь, явилась-не-запылилась», а она бы и запылилась, но где же ей, *ни кожи, ни рожи, а тоже туда же*, как бы сказал Сергей Евгеньевич Вольф, но, конечно, гораздо позже и не в глаза бы никому. Глаза сутулой Зины всегда плакали, но толстые девушки ее больше не утешали, и она вышла замуж за капельдинера цыганского театра «Ромэн».

Не доходя до Карусселли Ильюша Хмельницкий выпил три стакана газированной воды с сиропом за три копейки, а я — один без сиропа за плашмя ладонью по гулкому надбровью автомата. Здесь мы и распростились — он с одними отправился по Карусселли к новым домам, а я с другими — дальше в темный, дышащий старым кирпичом и липами город. Тень за тенью отскальзывали невидимые спутники и спутницы к скрипящим чухонским чердакам, где ждали их стакан пахты из маленького клеенчатого пакета и сладкая наемная постелька. Последняя девушка мне оставалась *на провод* — она шла молча чуть

впереди меня, как пингвин — разведя неподвижные руки от узкоплечных плеч к широкоэкранным бедрам; ее уплощенное туловище было наклонено вперед; под редким уличным полушаром круглые ее глаза косились на меня особенно глупо — *эта особенность была прелестна.*

Но — до крестца простегивалась по проводу сжиженная тягучая искра.

У металлической дверцы в эстонский японский садик последняя девушка остановилась и посмотрела на меня выжидательно. Я шагнул. «Только ты не целуйся, а то меня тошнит», — сказала она радостно. Я ушел.

А Балтийскому морю, как всегда, показали стеклянный барак ресторана с плоскими подскакивающими фигурками и сыграли песню *Линда-Линда.*

Оно поворчало, поворчалось и разошлось.

ПЯТЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Я был разврата покорный ученик. Учительницу мою, естественно, звали Ларисой. Их всех зовут или Ларисой, или Аллой. Я поехал к ней на семьдесят четвертом автобусе в Купчино. За боковым стеклом расклешенные ноги фонарей сигали назад; туда же отматывались неоновые надписи и полупогасшие витрины магазинов — только что начисто опустевших, подмываемых техничками (взятые в раскадровочной протяженности, с синими и коричневыми, высоко поднятыми муравьиными задницами, они напоминали о бесконечной египетской очереди к невидимому фараону), и освещенные витрины морожениц — засиженных печальными коренастыми девушками в разноцветных тусклых шапочках. А также и отражалось противоположное окно автобуса с наклоненными и сокращенными фонарями, витринами и надписями (вполне понятно, и обратно вполне понятными). А между двумя сторонами все реже мелькающей Лиговки неподвижно висело в стекле мое дикое прозрачное лицо — волосы, торчащие крупными клочьями вверх и вперед, кривые очки с двумя скатанными по всему автобусу желтыми электрическими шариками и стоящий колом капюшон вздутой *шапировки*. Ко всему к этому

еще бы сюда цветочки, которые я долго размышлял брать или не брать. С одной стороны, вроде бы надо, чтобы обозначить намеренья, а с другой — глупо тащить веник, если знакомство, хоть и ровное, но — с двенадцати лет, и был даже топтан ее сильными тринадцатилетними ногами в краеведческом кружке дворца пионеров и школьников, на египетском орнаменте его восково сияющего наборного паркета.

«Вот, нес тебе цветочки, а в автобусе такая давка, что остался только целлофан», — сказал я жалостно и предъявил домашнюю заготовку. Великодушные Лары не переборливы на жертвы — она махнула рукой и, все время оборачиваясь и что-то говоря, повела к себе в светелку.

Собственно, я приехал сватом. Дело в том, что Циця написал *«ПИСЬМО ЖЕНЕ»*. Начиналось оно так: «Дорогой Жан!..» Это произведение очень одобрил Прохор Самуилович, человек, равномерно бородатый со всех сторон, так что походил бы на подсолнух, кабы у подсолнуха поголовная его борода была не желтой, а сивой, а в серединке вместо супрематистской мозаики *Черный круг* находилось маленькое бледное лицо с неуверенно-журльническими глазиками. «Ловко вы ему», — сказал он Цице, отводя глазики. «Кому?» — «Да уж понятно кому, кому же еще...» Циця возгордился и решил расстаться с девственностью.

Я сидел на квадратной кровати и пил чай с

пирожным «Адмиралтейское» (почему-то отказавшись от родительской рябины на коньяке) и смотрел, как Лара — веселая, светловолосая, хвостатая (в тесных темно-малиновой водолазке и поколенной шерстяной юбке неизбежно наводящая на философические размышления о том, *кто голенаст, а кто бедерчат*) — медленно ходит по вагонной комнате, по половичной елочке меж столом и кроватью. Она безнадежно смешивала на своем коротком жизнерадостном языке «р» и «л», а также суживала и съезживала полногубые гласные «о», «у», «а» до какого-то единственного йотированного звучка, и всё говорила о Бродском, о Бродском, о Бродском... Толстая усталая бабочка, треща сливающимися в неотчетливое полушарие крыльями, на лапках и усиках ползла вверх по стене.

Лара устала ходить и стала говорить о Бродском сидя. Я вспомнил долг перед Цицей и положил ей руку на ближний бок. Она договорила о Бродском и спросила: «Ты чего?» Я отпустил свое бедное тело на волю и начал оползать на нее, держась другой рукой за широкое колено. Никакого косноязычья за веселыми ее губами я не заметил. «Поиграем в доктора?» — сказал я в передохе. Лара не засмеялась.

По пояс голая, с вылупившимися шероховатыми сосками на гладких грудях, с приподнятыми могучими плечами заведенных мне за спину рук,

она полулежала на вылезшей из-под покрывала подушке. Пуговица юбки глубоко ушла в живот, и я никак не мог ее уцепить. Зашел снизу к покатому паху, обтянутому до половины скользким и поскрипывающим на ноге, и потянул за резиночку. Поверх юбки она положила с нажимом руку на мою: «Сегодня я не могу». — «Почему?» — спросил я идиотически, барахтая пальцами по вискозе. «Не могу — не понимаешь, что ли?» Я медленно спустил руку по мягким бедрам и упрятал ладонь в сведенные подколенные вьемы.

Лара села, прыгнув удлинившимся, потом округлившимся, потом осевшими грудями, и решительно-рассудительно пробормотала со вздохом, адресуясь куда-то в сторону и вверх: «Единственное, что я могу сделать...»

Она выключила торшер, и комната наполнилась какими-то белыми дрожащими полосами из окна. Стало в два раза тише. Я лежал, опершись на локти и приставя затылок к стене, и испуганно смотрел на ее мерцающее, увеличенное, серьезное лицо. Бабочка надо мной вдруг сорвалась и громко стрекоча полетела во всех направлениях. Потом села на пол и пошла, шурша, как множество бумажек.

А сосредоточенно-светящаяся Лара пригладила уши, наклонилась, стемнев, и одним движением растворила мне штаны. Потом достала из прорехи трусов то, что в них давно толкалось, и слиз-

нула его губами, как лошадь кусочек хлеба с солью. И, зажав, стала ртом двигать взад-вперед верхнюю кожу, потом помогать рту рукой. Я уперся в стену лопатками и дотянулся кончиками пальцев до поскребывающих по моим вельветовым коленям сосков. Она недовольно мотнула головой — я опять откинулся.

Несколько раз она останавливалась, чтобы подышать. Вставала на пол на колени и ложилась на кровати изогнувшись. Качалась надо мной на четвереньках, как большая трехголовая собака. А я держал ее за круглый сухой затылок и за маленькие уши и вслушивался внутрь себя. Там, покалывая, кружилось время. Потом оно стало останавливаться, а Лара, наоборот, торопиться. Она все сильнее и чаще двигала ртом и рукой. Время встало, подрагивая. Потом с силой и болью длинно плеснуло в обратную сторону. Лара отняла руку и рот. Я тихо закричал. Она вернула руку — я еще раз закричал. Что-то в этом крике удивило божественно-чуткую Лару, она зажгла свет. Ее ладонь была вся в белом и красном; красные же, быстро темнеющие пятна оказались на розовом, и розовым тисненном, покрывале. Почти что уже не болело. Я осторожно залупил: там свисала какая-то короткая мясная ниточка. «Какая-то штука оборвалась», — сказал я, перхнув, вынул из-под подушки батон ваты и стал обкладывать ниточку крошечными жесткими клочками — не идти же

было в ванную через комнату Лариных родителей, пьющих чай.

Из дому я позвонил Цице и сказал: «Знаешь ли ты, Циця, что женщины пахнут сардинками? Лично мне уже переучиваться трудно, но тебе я горячо советую — сделайся-ка ты лучше гомосексуалистом». — «Да? — несколько озадаченно спросил Циця. — Пожалуй что надо бы это дело обмозговать».

ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

Из животных я не люблю больше всего эрдельтерьеров, из птиц — пеночек, а из насекомых — мандавошек.

Деревья я люблю все, особенно оливы из тусклого, слегка зеленоватого олова, изредка стоящие просторными каре вдоль иерусалимских дорог:

Кинешму предпочитаю всем иным известным мне городам — за Катеринин откос и вообще Волгу.

А самой любимой моей женщиной является еврейская женщина из Симферополя Галя Голобородько.

Точнее, являлась.

У Гали Голобородько не только бородько было голо, но и всё остальное то и дело высвечивалось, высывалось, вывертывалось из разметывающихся, расстегивающихся, разворачивающихся одежд. Особенно же я почитал правую ляпочку, всё соскальзывающую и соскальзывающую с узкого плеча (ужасное подозрение — неужто ж оно было чуточку ниже своего напарника?) и всё увлекающую за собой правую верхнюю четверть ослепительно-розовой блузки. Голая грудь Гали Голобородько не терпит легковесностей в тоне изложения — такие груди, вероятно, теперь уже не

делаются; если одним словом, то была грудь *ко-рольком*, но это лишь если одним — игривым, скудозначным, плодово-ягодным словом. Цилиндрический короткий сосок Гали Голобородько — коричневый, тонко-морщинистый, неожиданно старый и страшный — я видел всего лишь раз, но никогда его не забуду. Ни соска, ни раза.

Самым трогательным в ее лице было умно-ироническое выражение прищуренных серо-зеленых глаз (серый был умным, а зеленый ироническим), и из-за него что-то тленное ощущалось в чистом сухом дыхании приоткрытого рта, что-то мумическое в легкой многослойной одежде, что-то искусственно-моложавое во всей ее загорелой свежести.

На кусточках у заочного деканата еще качались кое-где белые, наполненные взрывчатой пылью шарики снежных ягод, по черным лужам плыли твердые маленькие листья, бульвар поблизу уже начинал зарастать табачным мелевом, была осень, а Гали Голобородько не было. И никогда-никогда уже не будет: она осталась в Симферополе.

Скоро бульварное кольцо превратится в заплыванную анфиладу вороньих коммунальных гнезд и совсем окажется по ту сторону принципа насаждения, и мы с Ильюшей Хмельницким зашагаем торопливо и молча по горбатуму, ослепленному Рождественскому, и по плоскому, немигающему Цветному, и по вогнутому, страдающему трехтак-

тным тиком Тверскому как будто без ботинок, лишь в одних тяжелых и мокрых носках, и мокрая треугольная луна будет неподвижно стоять высоко над нами, в невидимой вороньей прорехе...

Но пока я еще ничего об этом не знал и сидел на скамеечке рядом с красноколенной стайкой возбужденных украинок, только что официально принятых в русские поэтессы. Кстати, трудно сказать, отчего все-ж-таки не приняли Галю Голобородько. Шансы ее были неплохи даже сравнительно с веселой шарнирной системой длинных изогнутых костей из города Киева, которая, значительно округляя крохотные негритянские губы, опять сейчас — так же как и летом — упорно уверяла товарок по творчеству, что *руководитель семинара* (они его ласково называли Цыпой) из всех лирических поз пуще всего уважает 69. «Я тоже», — сказал я робко с соседней скамейки, но от меня, естественно, отмахнулись: «Погоди, — процедила с великолепной крестьянской надменностью огромная тетка по фамилии Велькийчоловик. — О любви будем потом думать — сейчас трэба *введение в языкознание* здаты». Но, может, охалка половецких сабель и хитрила, и на самом деле Цыпа предпочитал какую-нибудь иную позытуру, или уже не предпочитал никакой, поскольку Галя Голобородько таки вернулась (вероятнее всего, несолоно хлебавши) в свой родной город Симферополь, к своему родному мужу,

однокласснику и прапорщику Голобородько, давшему ей всего лишь одну попытку вхождения в большую литературу, и то лишь только под блефовой угрозой моментального бракоразвода. В отличие от головогрудой мадам Великийчоловик, приехавшей в осьмнадцатый раз или гологоло-вой шарнирной девушки из Киева, прорвавшейся на четвертый, бедная гологрудая Галя — как она простодушно рассказала некоей якобы случайной соседке в душевой — располагала одной-единственной в жизни возможностью вырваться из душной мещанской атмосферы части, *где злая свекровь пила ее кровь*, пользуясь строчкой из ее же собственной сташестидесятисемистишной народной баллады «Пленная душа». Прекрасная русская душа Гали Голобородько была заточена в красивом, но душном еврейском теле, а то в свою очередь, находилось под надзорным бдением хорошенького, но бездуховненького украинскенького хлопчика — такова вкратце была коллизия этого прошедшего *творческий конкурс* сочинения.

Да, но лялочка, лялочка...

Собственно, мне ничего и не светило. Как я ни топтался вокруг, запуская взоры, как ни кружился за нею по Пушкинской площади на стеклянной московской жаре, как ни подсылал знакомую лесбиянку подсматривать за ее строением в общежитском душе, как ни изыскивал моменты блеснуть своей лучшей, привезенной на этот специальный

случай шуточкой «...Я смогу, я все на свете смогу, если ты со мною странна», странна со мною Галя Голобородько не делалась. Она любила только русскую поэзию и белокурого украинского мужа, мускулистого, как кукуруза, а никак не угрюмо-болтливых еврейских драматургов в засыпанных какой-то дрянью очках.

И так ей и надо, суке, что недобрала на сочинении пол-балла! Нехай теперь до скончания времен варит своему прапорщику кровавый борщ с уксусом и маслинкой и до века глядится в сметанные расплзающиеся бельма!

Москва вдруг вся разом неожиданно истемнела, встал ливень, такой сильный, что, казалось, шел не вниз, а вверх. Цыпины поэтессы матюкнулись по хроматической гамме как раз вниз — спускаясь, как ни странно, от Велькийчоловик до басистых киевских лиан — и, со схороненными в трусах рукописями, разбежались. Деревья в одно мгновенье стали стальными, потом тоже куда-то ушли. Один лишь я сидел в задымленном дождем дворе, преданный, как Огарев. Но это уже совсем другой московский рассказ.

Вода поднималась по моему лицу, шевеля в углах лба волосы, заползая под веки и в ноздри, затекала в штанины, в рукава, в сердце. Я понимал, что никогда больше всего этого не увижу, и ждал.

ЩЕЛЫКОВСКИЙ РАССКАЗ

Сутулый, как крыса, режиссер перебежал поляну, кратко переставляя маленькие, обутое сетчатыми туфлями ноги. Взбежал на нижнюю галерею *шалé*, в едкий, блаженный запах нагретой свежескальпированной древесины и вскричал дамочке, выставленной из окна пятнистыми плечами: «Идут мужики, несут топоры, что-то страшное будет!» — «Что?» — спросила недовольно дамочка, поскольку являлась театро-, а не литературоведом, и к тому же держала всегда цитаты за неких электрических насекомых, без спросу залетающих в чужой, слишком просторный для них мозг и неизгнимо бьющихся, стрекочущих и жужжащих в нем, как будто в компотной непомытой банке — до смерти.

— Тысячелетие крещения Руси, вот что! — объяснил режиссер, отогнул большим пальцем штучные белые волосы с носолба, увидел на дальней обходной дорожке заслуженного артиста-теневика Мишу Жвавого, движущегося из финской бани (его полисферический торс в раннем закате сиял жестко-стоячим золотым рунцом, а совершенно безволосая голова бликовала шишастым бронзовым шлемом) и, плеснувши руками, запоспешал наперерез.

Режиссер, конечно, отнюдь не был профессиональным вестовщиком, по крайней мере не пуще любого из нас—но тысячелетия стрясаются всё же не очень чтоб часто, и ему не терпелось раскрутить выпавшее на полную катушку.

А я со вжиком задернул взволновавшуюся занавеску перед носом взволнованного тем же, стоймя отжикнувшего шмеля и сел на незастеленную кровать дожидаться тьмы. Здесь летние сутки обращены в единичный дыхательный акт: проснешься—начинаешь вдыхать, и весь день ждешь ночи, чтоб выдохнуть. Сваливается тьма на остро черные плечи все теснее окружающего леса, вверху оставляя до рассвета светиться из себя темно-синее небо, и можно уже начинать.

Под самую ночь погрома упал внезапный туман. Лес все так же глубоко чернел вокруг, небо все так же до лиловости тёмно синело, но на поляну нашлепнулась приземистая вырезка мелко-водокнистого оплывающего холодца. По его верху разреженными пятнами жира мерцали фонари. Из вязкого колыхания изредка взвизгивали актрисы, медленно мелькая потушенными туманом платьями. Говорили же мне Ильюша Хмельницкий с московской женой на Ярославском вокзале, что к тысячелетию крещения Руси в Костромской области всеобязательно будет погром. Оттеле, дескать, и земля Руская есть пошла. Я, однако ж, не взялся их убеждать—да уж было и слишком поз-

дно,— что земля Русская не совсем отделе есть пошла, а сонно поволокся в купе, где уже — сидя по-турецки на верхней полке—баюкал бутылку коньяку мой будущий кроткий попутчик и коллега, вороной как смоль драматург из Бугульмы, Бугуруслана, Белебея и Бузулука, похожий на очень худую, очень-очень медлительную и очень-очень-очень пьющую обезьянку—«...но пьет звёрок...» Его режиссер, поскрипывая кожей лица и пиджака, орудовал обеими руками в бороде, а мой, вышеописанный, стоял в коридоре и лирически лупал на бесповоротно отстающую от поворачивающегося поезда луну своими глазами, слишком, пожалуй, маленькими для его неглубоких, но продольно-длинных глазных впадин. Так они и ставили потом—один руками, а второй глазами.

Я просыпался, как ни странно, на раннем уже рассвете, когда птицы еще только начинали с разнозвучными скрипами мерно и плотно протирать свои разномерные и разноплотные рюмочки. В разведенно-лиловом небе маленькие русские звезды стояли кой-где по краям, уже не светясь, но еще не угасая. Окружающий лес уже неохотно расступался, еще поверху сохраняя сплоченную игольчатость. Я лежал на спине со вчерашней горечью и солью во рту и думал о том, что полюбить артистку Казакинову—это все равно, что полюбить козу. Артистка Казакинова состояла вся из локтей и коленок, как Шива, но брахманической

плавности не было в ней нисколько. К тому же я сильно опасался, что когда в ночь заезда театральная интеллигенция ныряла голая и пьяная с мостков, эта самая артистка Каза́кинова видала мой трогательно-невинный на раздвоённом пушистом мешочке мужской половой хуй. Ее маленькое, выпуклое, пятиугольное, *знаком качества*, лицо сверкало в лунных каплях. Маленькие круглые зубы фосфорно горели из приоткрытого рта. Маленькие—янтарные и голые; как у собаки—глаза смеялись изнеможенно и нагло. Деятели сцены, выворачиваясь всем телом поочередно на обе стороны—как косари—ходили по почти невидимой речке, развозили смутными руками луну на две поменьше, заключенных в растягаемые узенькой волною круги. Луна не удерживалась и возвращалась в себя самое, пятиугольно передергивающееся и покачивающееся посредине купальни. Внутри луны стояла артистка Каза́кинова и хрипло говорила кому-то выше себя: «Ну ты, блядь, такой же, как все... Того же, блядь, надо? Ну на.»—и раздирала воду на маленькой отвислой груди.

В моей предстоящей к воплощению пьесе артистка Каза́кинова предназначена была играть, извините, графиню, точнее говоря, трех графинь,— и пока шла репетиция и она медленно стягивала черный платок с прямых узких плечей, я не видел никаких сложностей ни с одною из них четырех, а ощущал только превосходное тончайшее жжение

под ложечкой. Но сейчас же после, когда она смотрела мимо меня в замшенное мушиное окно репетиционной грибоварни и спрашивала: «Автор, вы пойдете к нам пить чай?...»—я исходил печалью. ...Актеры произошли ведь не от Евы, и их свободная от первородного греха насмешливость не знает никакой пощады. Ну как со всеми этими локтями, глазами, зубами, коленками уложишь свое полное тело в узкую казенную постельку? Я—боюсь их.

Туман поднимался к моему окну. Пятиугольные насекомые, закрывши передними лапками головы, ползли к настенной лампе по выпуклой обоейной ботанике. Лес потихоньку начинал гудеть. Вызванный дирекцией дома творчества милиционер ходил по краю тумана, как лошадь. Миша Жвавый, возвращаясь из финской бани, неуютно чувствовал себя своею собственной тенью. Тысячелетие крещения Руси наступило. «Пришли мужики, принесли топоры»,—издевался режиссер под критикессиным окном. Артистка Казáкинова, прозрачно светясь алой короткой юбкой из самой середины расшевеленной мглы, нестройно пела: «Я еду пьяная и очень бледная по темной улице совсем одна». Все вокруг засыпало, закрывалось руками, прижималось соскáми, обволакивалось туманом, луной и тьмой, и, кажется, уже начинался выдох.

ВТОРОЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Режиссер Чичюкович ставил «Эдипа-царя» в заколоченном клубе девятнадцатой-бис автоколонны. Когда по Обводному еще только начинали поклацывать неспешные грузовики с неаккуратно обглоданной палеонтологией; когда над заканальной Лиговкой еще только начинала сгущаться клееваренная прилежно-тяжкая приторность; когда ночь, протертая до еле замуравленных дыр вращением небесной сферы (из рук вон притертой в этих широтах) еще только начинала протаранивать невидимую луну за краешек граненого земного барабана, режиссер Чичюкович, густо-рыжий сторбленный карлик в берете, выворачивал из наконной доски заранее расслабленный кривоколенный гвоздь с обвесившей поля мелкопупырчатой шляпкой, и—по режиссерской проминающейся спине труппа залезала в *рензал*. Последним на вытянутых руках подымали его, поскребывающего стенку кротко болтающимися копытцами, затем доска подтаскивалась изнутри, стальные перегородчатые жалюзи опускались и заговоренный гвоздь рыболовной леской втягивался в надлежащую ему дырочку. Репетиция, любовь моя, началась.

Я приходил сюда вечерами играть в футбол.

Кадма древнего потомки—несколько носатых поэсс, вечно юный фотограф с неизвестно почему избалованным лицом, круглоголовая тюзовская травести—мрачно-восхищенная жена постановщика, и энергичный исполнитель заглавной роли, могучий крутобородый муж, прославленный тем, что однажды единым уносом украл из пригородной библиотеки всё собрание сочинений Бунина—быстро *чумели* от первой же сцены и нуждались в частых передыхах и переключениях. Я был здесь для переключений.

С маленьким красно-синим мячиком в ногах кружился я, задыхаясь, по звенящему белым казенным электричеством залу. Что́ мне звучно визжащие поэтессы?!—сквозь ихние ноги и фашист проползет! Что́ мне subtilно мятущиеся фотографы?!—эх, и размечу на крохи говенные! И что́ мне даже древнегреческий поклонник Бунина, стоящий хохочущей шерстистой стеною?!—обмотать его, неуклюгу, с моей-то обводочкой, не труднее, чем большой и указательный обоссать!

Чичюкович—глядя на меня отечески-доброжелательно, как слепец—сидел в углу на табуреточке:—наклоненный вперед, упершийся отогнувшимися рыжеволосыми пальцами в края сиденья и подогнувший перекрещенные ножки к его исподу. Потом хлопал в ладоши, и одновременно с криком «Первая сцена, крыльцо, Эдип, хор!» сваливался с табуретки. И *Кадма древнего потом-*

ки начинали на четвереньках сползаться в кружок посередине зала.

Мимо Волкова кладбища я шел домой. Протертая до основы ночь опять натягивалась крупноячеистой сетью на смутный костяк колокольни, на скорбутный оковалок скорбного дома, на короткую осекшуюся шерсть труднодышащих низких крон. Всюду была слепота ночи, за то, собственно, и прозванной *белой*.

Жена Чичюковича лежала голая на балконе, а мы с ним в кухне писали пьесу про декабристов. Он дергал себя за волосатую нижнюю губу, взволнованно продыхивал очки, моргая уменьшающимися глазами, хохотал рыжим причесанным горлом и периодически приспрашивал: «Па-а-анимаешь?» Я понимал.

Приходила с балкона жена, завернутая в переходящее знамя девятнадцатой-бис автоколонны (на коротком бедре половина скривленного и сморщенного Ленина, остальное — в запахе; тяжкозлаченные кисти колотятся о круглые прочные коробочки коленей), оглаживала крупными русскими руками волосы (оттянутые с нечеловеческой силой от нарисованного лба в окольцованную подзатылочную выемку), наклоняла голову к плечу (свеже-сухо-красноватому, в мелких родинках) и спрашивала: «Чижики, чаю хотите?» Я хотел.

Звонила поэтесса Буратынская, на вороньем

лице у которой день и ночь прозрачно голубели искренние глаза, и интересовалась, не могу ли я сейчас же приехать к Сайгону—поговорить об одном очень важном деле. Я не мог.

Белая ночь не распространяется на шлакоблочные районы, слишком мала, слишком привязана она к дырявым башням, к безногим паркам, к тусклым рекам, к тонкому морю—как перетянешь ее одеяло? Поэтому чичюковичевские окна быстро затекали тьмой из рассеченной луны, и я уходил.

Чья-то ничья дача в Озерках почти висела над зеленым озерком—дощатая четвертная модель венецианского палаццо. В палаццо некогда размещалась *хипкоммуна*, где заплывал в счастливой сладостной дымке молодой Чичюкович с предыдущей женой: а она ему изменила с его лучшей подругой—обыкновенная и грустная история. Чичюкович назначил здесь прощанье. Он уезжал. В Одессу, ставить в кукольном театре «Морозко». «Значит, не надо учить вторую сцену?»—с облегченным звоном выдохнула в телефон поэтесса Буратынская. (...Да и всё равно, с тех пор, как я расколотил приборный щит особенно *сочной поливой*, репетировать им приходилось в полной темноте. Чичюкович говорил, что это невероятно расширяет энергетику и перемещает местами Инь и Янь, но и ему было как-то неуютно среди топо-

чущих теней, в шумной тьме, еле просвеченной перекрещенными щелями.)

У калитки вертелась вокруг серой мозговой кости замшелая лайка. Я взялся за калиточную зажавшую скобу. Она наступила на кость, посмотрела на меня искоса и коротко пошевелила толстым закрученным хвостом. «Это человек! Не оскорбляй человека! Пусти человека, сука!»—заорал вывесившийся из мансарды любитель теперь понятно что не только Бунина.

Чичюкович, обаятельный карлик, сидел на столе по-турецки среди свечек и стаканов и говорил, что вырежет в Одессе из конского каштана куклы всех исполнителей автоколонного «Эдипа» и поставит с ними «Морозко». Некоторые плакали. И что *изнутри* он сможет в два раза больше. Некоторые смеялись. И что не самодеятельность, как он предполагал раньше, а куклы—единственная нынче надежда. «Ласковый петух две жопы клюет»,—мрачно сказала хозяйка ничьей дачи. «Двуглавый петух две жопы клюет»,—возразил фотографический юноша. «Ласковый, двуглавый, жареный петух две жопы клюет»,—обобщил Чичюкович и закачался от загортанного хохота.

Спать разобрались на полу грустные и пьяные. Четыре комара принесли сеть сумерек и накинули ее на всю повалку, чтобы понижу стало темно, а поверху темно. Яблоня-китайка всеми косичками отворотилась от окна и тесной очередью уронила на крыльцо маленькие черные яблоки—среди них

и одно фосфорно-белое, сдавленное, подгрызенное. В гоголевском носу поэтессы Буратынской захлопали какие-то крылья. Фотограф пробормотал в гулкую дырочку изголовной гитары нечто длинное, длинное, оскорбленное. Жена Чичюковича перевернулась одним движением короткого плотного тела на спину и окончательно перешла в инженерю. Все ее губы через два года (что заранее сказать было невозможно) оказались твердыми, тонкими, неподвижными, словно с силой натянутыми на неизвестные анатому дуговидные губные хрящики. Сам Чичюкович, будущий Карабас из Джебказгана, спал сидя в воздухе над столом, и очки его понабились фосфорные семечки луны.

С сумеречной паутиной на лице шел я к первой электричке. Ничья дача плыла за мной, наклоненная, по располосованному дальними фонарями с верхнего шоссе озерку. Сзади что-то чиркнуло—я быстро оглянулся. Волокнув за сверкающую голову огромную полуобъеденную рыбу, вчерашняя лайка переметнулась через дорожку, как крыса. В узком окошке мансарды зажглась маленькая лампа.

ГРЯЗОВЕЦКИЙ РАССКАЗ

Когда я молоденьким юнкером был, военную форму я очень любил—Алера-опа, Америка-Европа, ха-ха!—военную форму я очень любил. Мыться водили по гатям с песней (с не-этой, переходящей в эту) три дня подряд, чтоб поскорей исчерпать уставно положенные на месяц три помывки и любовно свернуть походную баню—красу и гордость дивизии. Да и гать сама за трое суток основательно подтанывала под чудовищными колесами тягачей, волокших на стрельбище свои долгоносые подскакивающие пушечки, и когда еще партизаны нагатыт новую... Увы, я за целый месяц так и не сумел причаститься полноте армейской целокупности, потому что у меня очки не влазили в противогаз, и хоть и завернувшись, как все, в *химгондон*, я бежал четыре километра до бани по круглым, скользким, шевелящимся бревнам, но—безголовый, раскупоренный...—так и не узнал я той особой темноты, кислоты, мокрости, той электрической дробности, той отдельности дыхания и исчезновенности времени, что обволакивают и наполняют холодное и душное тело в этом герметическом свертке. Дома, среди онемелого мрака опустевшей на лето квартиры, я и противогаз бы натянул, и подышал бы в нем, лысом,

и походил, и попел—не так уж я и слеп, чтобы два-три часика без очков не посидеть, но я боялся воровать армейское имущество, в отличие от бравого армянина Иванова, который, в рассуждении будущей рыбалки, забил лишнюю скатку бледной, жесткой резины глубоко под нары нашей двенадцатиместной палатки.

...В серый пар, равномерно стоящий внутри угольчатого банного шатра, вмешивалось солнце сквозь отогнутые брезентовые полсти и мелькало в нем длинными, изнутри золочеными пятнами. Голые зажмурившиеся мужчины медленно поворачивались вокруг себя под душевыми соскáми, выдвигая вперед нижние губы и ожесточенно шаря по себе вращательно или крест-накрест. Было душно и холодно. Помытые лежали на завалинке, как Теркины, и вели неспешный разговор.

—Киргиза из третьего взвода знаешь? С финансового факультета? Знаешь, какая у него залупа?! Во такая! Я охуеваю! Он меня на пять лет младше, а залупа во такая, больше моей! Я к нему—почему залупа во такая? А он: мы ж в Киргизии с семи лет овец на горном пастбище ебем. Ну я успокоился, а то действительно непонятно, чего это у него залупа во такая, больше, чем у меня, хоть я и старше. А теперь понятно—они там у себя овец на пастбище с семи лет ебут, вот поэтому у них и залупа во такая...

Я лежал на спине под сухим исполинским дубом и пускал вверх, в высокое полукруглое небо,

протяженные, мягко-золотеющие, исчезающие завитки. Одно из дымных ответвлений всё норовило вскарабкаться по широкоморщинистой коре, но вязло в ней, упорно голубело, как бы дубело, — пока не останавливалось и также не исчезло. Муравьиный мох пахнул едко и чисто. Мохнатые прокаженные березы толпились поодаль, длинно шевеля мелко-дрожащими ветвями. Гракхи какие-то, древесный плебс, обсиженный грачами. Старый дуб, самый черный и толстый в околотке, не двигал, напротив, ни косточкой — сквозь его черные, многолокотные сучья, густо обшпиленные мелкими волнистыми листками, небо казалось еще выше, синее и пустее. Оно казалось перевернутым. Вспоминался Ильюша Хмельницкий, который написал мне сюда на сборы письмо о том, что твердо решил увеличить размер своего члена. Но он еще определенно не выбрал, на каком именно методе увеличения члена ему остановиться: то ли смазывать его туком ашвагандхи, то ли маслом, приготовленным из корней шабары (или все же ялашуки?). То ли попросту сбивать это самое масло из парного молока буйволицы? А быть может, всё сомневался Ильюша, воспользоваться туком хастикарны и вайравалли? Так можно ощутимо увеличить свой член и по длине, и по диаметру за всего какой-нибудь месяц. Другие способы — массаж кашаевым маслом, например — потребовали бы месяцев шести, а то и более. На такие длительные сроки Ильюша Хмельницкий был категориче-

ски не согласен. *Наебся-наскребся, гангрену схватил, а доктор мне взял, да и хуй отхватил—Алера-она, Америка-Европа, ха-ха!*—а доктор мне взял, да и хуй отхватил!

—Слушай, у тебя утренняя эрекция тут есть? У меня утренней эрекции тут и на котский угол нету. И у киргиза то же самое, кстати...

—Они же, суходрочки, нам бром в чай сыплют, не знал, что ли?—чтобы никакого разврату в частях.

—Угу... Лесбиянства всякого...

Ой, не пить мне отныне деревянного чаю с квадратным военпекарским хлебцем—сырым, горячим и серым. Не пей, Алечка, из болотца—козленочком станешь... Не поймет тебя ни город, ни мир; ни летние девушки не поймут, ни зимние; а одна демисезонная, с которой у тебя встреча через три недели в шесть часов вечера на площади Восстания, только что топонимического юмора не оценит, а так—искривит охотно в неизъяснимой нечаянной радости свои рыжие, длинные, засохшие губы.

—Товарищ старший лейтенант, а вот сидите вы здесь, как пупочка, водку квасите, на выходные в Грязовец к блядам на казенном танке ездите...—а как свистанут вам сейчас серпом по яйцам: бери шинель, пошли в Афган—чего закукуете?

Летёха с мальчишеской ленцой подвигал зеленую фуражку на голове за широкий лакированный козырек и постукал рогатой веточкой по

длинному сапогу:—А чего? Хорошо бы. Постреляю хоть... *Зашел в магазин я купить колбасы, а хуй мой вареный кладут на весы—Алера-опа, Америка-Европа, ха-ха!*—а хуй мой вареный кладут на весы!

—...я на галёре стою—ко мне мужик, старый такой—еврей, наверное... То-се, говорит, джинсы нужны? Ну поехали, говорю, помацаем. Посадил в шестерку с третьим двигателем, домой привез. Коньячку налил и говорит: я тебе, хочешь, джинсы подарю, только можно я у тебя один всего раз отсосу? Ну, ваще, козел...

—Ну?

—А чо ну? Джинсы-то сто пятьдесят колов стоят. Не я же у него, а он у меня...

—Ну ты, Леха, мудилище! Кто ж такое рассказывает?...

—А чо...?

Резко смерклось. Так—или чуть темнее—останется уже почти до рассвета. Север. Остриженному затылку—даже сквозь надетую на муравейный бугорок пилотку—сделалось холодно. Я сел. Военно-полевые термы, туго наполненные желто-зеленоватым вспаренным светом, казалось, сейчас дернутся, оторвутся от вытоптанной темно-туманной поляны и, покачиваясь, неожиданно легко полетят к луне, бледным кольцом как раз мигающей по-над бесконечным лесом. Березы поодаль—выяснилось в полумраке—уже сошлись в одно слитное, расхристанное войско и замолкли, белея

пóнизу лапотками; а дуб, наоборот, еще набравший себе черноты и отдельности, командирски загудел, низко и хрипло, всей своей пустотелой сердцевиной. Отделенный - азербайджанец, муэдзин запасной пехоты, побежал между кочек с вопросительным криком *стро-ойсь?* Я стал медленно подниматься, околачивая обсыпанную муравьями и желудевой шелухой пилотку об низкое голенище тусклого негнущегося сапога.

СЕДЬМОЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Когда началось православное возрождение, я сидел пригнувшись на низком холодном подоконнике Сайгона и курил вниз сигарету *овальную*, защемленную желтым морщинистым кольцом из большого и указательного пальцев и легонько околачиваемую (для скощения костистого пепла) тройною свирелькой из среднего, безымянного и мизинца. Дым изгибающимися и рассучивающимися нитями пробирался сквозь расстегнутую одежду кучно стоящих у высокого столика и сквозь их большие руки с раздраженными снегом пальцами; медленно кружился в пустых стаканах и чашках; рассеянно подымался над встрепанными после шапок головами.

«Тебе чего?»—спросил Циця, не видя человека за людьми. Человек же видел (если хотел) Цицю—маленького и двойного—1) в зеркале, занимающем своими длинными продольными секциями всю торцевую стену, и 2) за собой, в углу черного, капельно-блестящего, периодически наполняющегося лязгающим, сверкающим трамваем окна. «Маленький двойной и чего-нибудь постного»,—отвечала мыловидная с лица барышня, расстегиваясь и близоруко роняя на цицину тугую ладонь без линии тайных пороков кудельку полу-

прозрачной пены и два мокрых пятиалтынных. И тогда-то я понял, что православное возрождение началось. Собственно, еще когда Миле Мелоблинской примстились электрические голоса, сказавшие поджуживая не то *Мила, смирись со своей судьбой*, не то *Мила, борись со своей судьбой*, я почти что уже это понял.—Поскольку Мила едва домоглась до утра и, накинув на носатую блядскую голову серебристый платочек, подворачиваясь побежала в сумерках по небрежно заброшенному смутным снегом Большому проспекту Петроградской стороны—в Княж-Володимерский собор. Вся, говорит, комната наполнилась таким тоненьким внутренним свеченьем и как будто цикадным потрескиваньем, и я так испугалась, так испугалась, что не успела разобрать, бороться мне все-таки или смиряться. А все же это существенная разница моей дальнейшей жизни, нет? Что вы мне скажете, отец Александр—бороться или смиряться? Священник—сонный, конический, старый, со скрипучей толстоволосой бородой, в жестких, курносых, запятнанных слякотью ботинках, торчащих из-под посекшегося краешка рясы, потерпел промеж огромных ладоней тускло-серебряный черенок наперсного креста и резонно заметил, что ангелы, угодники и святые, не говоря уже о самом Господе Боге, являются только очень хорошим и праведным людям. Так что к тебе, дочь моя, прицепились некакие мелкие бесенята, и чего бы они там тебе ни насажали, никакого это

значения не имеет и иметь не может. Мила осталась довольна, что урезонена, но с неясным ощущением оскорбления—как бы легким пощипыванием в пошмыгивающем носе.

А Циця ушел к длинной стойке с четырьмя людскими хвостами от гудящих и поскрипывающих кофейных машин, так и не заметив под столом меня—за черноплечими мужчинами, стоящими с чашечками у говорящих ртов. Барышня прилежно ждала, вертя головой и со- и переставляя грязную посуду на захваченном ею полумесеце стола. Ее наивный нос (я видел в стенном зеркале) подергивался, свыкаясь с неотожествимым неблаговонием моей овальной сигареты. А вот уж и Циця скоренько воротился, разыскав (я видел в черном стекле) в одной из очередей продвинутого знакомца и подсыпав в его горку свое нахальное сребрецо. «...я была сегодня у отца Александра. Он та-акой душка-анчик...»—рассказывала барышня, продолжая безостановочно переставлять кривые посудные вавилончики: «Спрашивала, не грешно ли кататься на велосипеде.»—«И что?»—заинтересовался Циця.—«Батюшка так долго думал, думал и сказал, что на женском—не грешно.»—«А у меня нет женского»,—испуганно сказал Циця.

Я шел за ними по Владимирскому—самому темному, снежному и короткому из всех проспектов. Впереди площадь мигала светофорами и колокольня на Колокольной чернела, сама смутно-бе-

лая, узкими междуреберными промежутками. Снег стоял у редких фонарей в желтых косых треугольниках, лишь у театра Ленсовета в чешуйчатом полукруге. Светло-черное небо светилось внутрь себя ровно и бесцветно. Наверно, это ему было больно, как тем, у кого волосы растут внутрь. Нет, я не шпионил за Цицей, я не ревновал его к барышне, хотя когда-то, до возрождения, и снимал—так уж случилось—запотевшие от слез широкие очки с ее шершавого носика и целовал ее в короткие ноги со следами рейтузной рифленки и в выпуклый белый животик;—нам просто было сейчас по пути—прямо и налево.

Маленький человек, похожий на вьетнамца, но с паутиной челкой и опухшими шерстяными усами, стоял в полуподвальных сенцах, выставив из-под пальто вязкую ладонь, и монотонно повторял: «Познакомьтесь, моя супруга... познакомьтесь, моя супруга...» Супруга по-за ним приятно двигала ртом и кивала пустыми щеками. Протиснуться сквозь тесные сенцы мимо человека с супругой было и мне непросто, а что уж тут говорить о Прохоре Самуиловиче в сопровождении целых трех дам в зеленых пальто. Чем меньше была дама, тем больше были ее очки и пальто зеленее, а Прохор Самуилович по случаю открытия сезона принял ежегодный постриг и напоминал слесарного Ленина в кепке и зубной накладке. А здесь как раз начиналось литературное возрождение. Циця

с девушкой уж были налицо. Я сидел прямо за ними и видел их склоненные один к одному, один к одному одинаковые разрезанные затылочки и их надвисочные пряди, соединенные заподлицо. Люстры сияли. На низкую сцену вышла женщина в цветастой складчатой юбке, неся перед собой поэму, завернутую в фольгу, как жареная курица. Рядом со мной сожмурился старичок с длинным двугорбым черепом, который знал Кокто как никто. Имя ему было Легион: Легион Матвеевич, кажется. «Сергей Евгеньевич! Если вы не перестанете, я сейчас же пересяду!»—счастливо-возмущенно зашипели откуда-то справа сзади. Человек с супругой ждал у рояля своей очереди на сцену. Супруга, впрочем, сидела в первом ряду и кивала ему блестящими щеками. В последнем ряду звякали вином. Всё шло очень хорошо.

А по низкому пятнистому небу над горою очень быстро ныряла луна. Нестерпимо яркая в прорывах облачного панцыря, она исчезала под броневой накатами, а на уязвимых сочленениях покрывалась радужной тенью. Но это было через одиннадцать лет и далеко не здесь. И Цици с девушкой не было—они растаяли с весной, оказавшись обыкновенными снегурочками. А человек с супругой вертится еще, раздувая пиджачные жабы, привернутый проволокой к шваберной палке на огороде своей зеленогорской дачки. И больше никто уже не знает Кокто как никто. И Прохор

Самуилович, лишившись трех зеленых дам—и средней, и безымянной, и мизинчика,—вхолостую ссыпает на пол при всяком дуновении иссохшие семечки со своего давно не стриженного лица. А Мелоблинская Мила, что хотела меня трахнуть, при этом цинично жуя жареный пирожок,—дабы отмстить таким изысканным образом какие-то свои девичьи обиды—разводит коров в Аризоне. А маленький двойной без сахара, который я опрокинул на холодный и низкий подоконник Сайгона, давно ушел в его белесый камень, оставив на поверхности лишь еле заметную рыжину, похожую на кривой неравнокрылый крест.

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ РАССКАЗ

На свете ничего нету ужаснее системы американских ватерклозетов. До половины монументального горшка в них незыблемо стоит кристальная вода, и когда в ней начинают распушаться и разворачиваться лимонные облачка ясной манхэттенской мочи, приезжий не без испуга ощущает себя каким-то юным химиком. (*Сидит химик на скамейке, долбит хуем три копейки...*) Отчего все-ж-таки американцы не доверяют сливу? Наверное, обладателям настоящей, дикой, гигантской Ниагары всякая искусственная, домашняя, крохотная кажется всего лишь пародической непристойностью? Допустим, здесь действует вообще свойственный американскому сознанию романтический эстетизм, но существует же и этика (правда, Уолдо?): одно дело семихвостой водяной плетью согнать в подземельные бездны отверженную, но несомненную часть *себя*, и совсем иное — уничтожить в коварно подразверстом отверстии, в хищно увинчивающемся водоворотце нечто новосозданное, нечто от тебя отдельное, некое уже было самостоятельное в унитазе вещество. И дело пахивает разрушением материи, хоть и изобреталось наверняка, чтобы ничем не пахивало.

Я горько вздохнул, как и всякий человек, за-

стегивающий штаны, бросил прощальный взор в толстостенный, затекающий свежей водицей ва-зон и вышел.

На плоской крыше гостинички уже почти стемнело, но вокруг, в длинных косых и заостренных, черно-зеркальных стоячих полосах желтел с отливом закат. Я почувствовал себя на дне железного, продольно располосованного стакана. Задушев-ный курчавый чукча (за истекшие одиннадцать лет обросший короткой асимметричной бородой и надклеенной к ней простодушно-мрачной улы-бочкой), подкачивая себе в противотакт древне-римской сандалеткой и отворачивая от гитары ли-цо, сбегаящееся со всех сторон к кончику носа, сипло пел песнь *Ах как бы мне пробраться в ту самую Марсель*. На *Марсели* я и вошел. Через 44-ую улицу, в верхнем этаже католической шко-лы, заплескали в дюжину маленьких обожженных ладоней. Из окон дортуара закивали и засвистали черные девочки в белых платьях. «Some here... some op...»—сказал я тихо и подгрел к своим очкам сумрак рукой.

Дженни Каценельсон, соединенные стати Аме-рики,—великанша с большими черными кустами подмышками, укоризненно покачала огромной глазастой головою. Сторожко дремавший в плете-ном кресле у заставленного водкой и кока-колой трехногого столика цыганский драматург из Бу-гульмы, Бугуруслана, Белебея и Бузулука вдруг

дернулся, щелкнул конским подбородком о худые ключицы и с хрипом закричал: «Ну, кто тут еще держит негров в черном теле?»

—What has he said?—спросил кто-то неразличимый из дальнего угла крыши.

—He is protesting against a racial discrimination,—ответил я.

—Fine,—подумав, решительно кивнул кто-то.

Дженни Каценельсон, которая в глубине души понимала по-русски, покачала головою еще укоризненнее. ...*Дóлбит хуем три копейки. Хочет выбить три рубля...*—пел чукча, залихватски встряхиваясь.

—Пойду позвоню,—сказал я никому.

Подруга Цициной тети Муры ждала меня на углу в пустой итальянской закусочной. Голубое военное платье со множеством карманчиков, погончиков и пряжек, а над ним еще не старое и красивое обезьянкино лицо. Она мелко прикусывала из стакана минеральную воду и нервно поглядывала за окно—на белое пятнышко прижатого к витрине черного носа и на два (чуть повыше) мигающих выпуклых колечка с круглыми искрами посередине.

—Как там Мурочка, здорова?—небрежно вертя в пальцах конверт, как бы позабыв, где же он расклеивается, хоть он нигде и не расклеивался.

—Очень больна,—твердокаменно (памятуя о

полученных инструкциях):—Особенно племянник.

—А вы тоже хотите поселиться в Америке?

—Нет-нет, что вы, я совершенно не могу здесь жить—меня ужасает система американских ватерклозетов.

Подруга тети Муры поперхнулась пузырьками и закашлялась. Я любезно постукал ее по плотно-натянутой чесучевой спине.

Шелестящее растение вентилятора поворачивалось туда-сюда на шкафу, а выпрямленное тело подруги тети Муры неподвижно лежало по диагонали квадратной тахты. И опять отдельное от него, подобранного и гладкого, смеялось, как чье-то чужое, пьяное ее лицо. У всех женщин, когда над ними наклоняешься в темноте, одинаковые лица—с глубоко раскрытыми блестящими глазами и ртами. Такое было с минуту назад и у нее, будет и десять минут спустя, но сейчас—на погнувшихся о подушку волосах, темное (только лоб узко и косо белел в оконной полоске), коротконосое и спокойное—оно пугало.

В коридоре захлопали дверьми и затопали. Долетел неровный, неразборчиво и плоско гудящий голос и поперек под ним—купнострунный тереньберень. «Что это там!?»—одним сильным и плавным движением подруга тети Муры села на постели.

—*Хочет выбить три рубля—не выходит ни хуя!*..—объяснил я:—На крыше у нас протекает

вечер дружбы, а под крышей—ночь любви.—Она низко засмеялась.

Будто бы в ответ, за стеной, проходя, захохотали по-американски—счастливым согласным хором. «It's good, isn't it?» Химические куплеты явно обретали Большой Американский Успех. Я положил ее сухую граненую руку с двумя жесткими кольцами себе под яйца.

Кто понимает, оценит—какое же это счастье: в самой сердцевине июльской жары поворачивать руками и ртом прохладное, плавное тело, чья голова, отрезанная, лежит в изголовье, всё тончея и сужаясь,—даже если она пахнет сладкой и червивой китайской водкой и самым основанием изогнутого горла бормочет нечто вроде *Прощай страна изгнавшая меня прощай я не держу обиды в душе твой образ та-та-та храня я ухожу искать Фемиды Любила я как родину тебя меня родной ты не считала Я ухожу та-та-та-та скорбя но не жалея Ты мне жала как обувь тесная которая мала...*—даже если почти что уже не стоит, а только червиво и сладко вздрагивает.

Быстрое насекомое лицо вентилятора медленно обводило комнату пышным кольчатый глазом. Подруга тети Муры, нервно на него поглядывая, озабоченно застегивала свои карманчики, погончики и пряжки, иногда с ненавистью глядя меня снизу по икре.

Я провел ее, почему-то босой, через оба этажа

затихшего дома и бесшумно отомкнул перед нею все замки и цепочки выхода. Она закричала «Такси, такси» и побежала маша сумочкой наискосок через улицу.

На крыше, под незнакомыми звездами и всё тою же самой луной Дженни Каценельсон качала головою укоризненно. *Химия, химия—вся залуна синяя!* совсем задохшись допел чукча и с решительно-гулким стуком поставил гитару между коленей. Цыганский драматург неожиданно выпрямился в кресле, раскрыл ясные черные глаза и убежденно-размеренно произнес: «Казахи—они спокойные, как говно». Дженни Каценельсон рассмеялась.

ЧЕТВЕРТЫЙ МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

Мое зрение уже начинало гаснуть, и желто-красно-черная осень сплывалась перед ним в какое-то кольцевое мочало, намыленное кровавым мыльцем. Напившийся чаю «Бодрость» с печеньями «Юбилейное», по полупустынной кольцевой я доезжал от Белорусской до Новослободской и здесь пересаживался на семнадцатый, кажется, троллейбус, полным-полный маленьких двузубых вьетнамцев. Я боялся к ним нечаянно прикоснуться в сумеречной бездыханной, но не безуханной (терпко-телесной) взвешенности, поскольку известно было, что вьетнамцы моментально передают ужасных вьетнамских глистов через рукопожатие и по дыханию. Глисты же вьетнамские незаметно выскребают невьетнамского человека изнутри, а выскребши, высовывают из рта его свою белую, надувную, безглазую голову, похожую на зашитую по щиколотке кальсонину из бледной солдатской бязи. И горе же тому, с кем рядом по случайности не пришлось Великого Петра! Щелочнометаллически переключывающиеся вьетнамцы в коротких пластмассовых куртках, поджав ножки и приветливо глядя наискось-вверх, как будто предвкушая раскрытие парашюта, поспрыгивали с ахнувшего и накренившегося

троллейбуса у своего по всем стеклам облитого кислой березовой желчью общежития, а я—через остановку—у своего. Тоже поспрыгивал. Но я-то на парашют ни на какой не полагался, ставил твердую ногу на облепленный ветошными листьями дымный черно-радужный асфальт. «Ну почему обязательно в склизкой арбузной клетке, да еще и под дождем? Разве же я отказывался на скамейке напротив Дома Композиторов, когда через улицу у парадных дверей бегали раззолоченные старухи с папиросами, а за открытыми окнами бельэтажа, дрожащими от выпуклого блеску, что-то пилили и рубили по жести, а она подскакивала на моих коленях вполоборота, сменяясь то одной ягодицей в упоре, то другой, сменяясь тяжелами грудями под вспотевшей марлей и смеясь мне в лицо. Я же и сам был от скамейки не прочь, и даже наоборот, домогался, и домогся, слава Богу, и она еще, помню, сказала добродушно Ну что, доволен? Трахнул девушку на скамейке, и доволен? И я таки да был доволен.

...И на всяком полумарше почти что любой черной лестницы готов был я схватиться за закругленную чурочку этого затылка и вмять крупный нос с русским утолщением на кончике в мягкую дрожь под своим пупком, и пусть как хотят ходят лопающиеся губы и легкий сухой язык. Но не в арбузном же зелёноплетёном рундуке—как склублившиеся морские свинки в давно не чищен-

ной пионерами клетке, на мушиных мехах и на осиных корках осени!

...Но и не в нищенской же постели, полной серо-сверкающих волосяных колечек от выставленной на подоконник подушки, не под пародийный же перестук гнилого будильника;—на скованную немотой поясницу, на ироническое выражение развернутых и лениво поднятых коленей, на аптекарский запах застарелого девичества я также оказался абсолютно несогласен; а сама ты, знаешь,—после измывательства такого—не на море похожа, а на блядь.»

Заочные писатели в хлопчатых шальварах стояли кружком посреди черной кухни, распаханной заоконным фонарем, и держали в отставленных руках измятые кастрюлечки с пенным тараканьим настоем. Бу-бу-бу-бу-бу... Они были, как некий полу-уже-сомкнувшийся для пищеварения престарелый мясоядный цветок, еще жесткий и хищный снизу, но обескровленный и обессиленный на кончиках своих извернутых лепестов. Заслышавши в коридоре пневматические мои шаги, шальварные хлопцы заочно замолкли и, недопереваренно разгибаясь, стали мести пол небритым глазом под себя,—пока я не миновал. Когда же я миновал, сызнава разом возговорили туда же, в мятую маятную середину своего оцепления и оцепенения, в шахматную стертую сердцевину охотничьего бутона, в серое полусваренное мясо сумерек; возговорили этим своим всегдашним одновре-

менным, совокупно-плоским, множественно рас-треснутым басом. *Так сходились они* каждый вечер, редковолосые мужчины с неровно обвисшими лицами, и быстро-быстро произносили слово *судьбоносность*, покуда настой их наваривался и простывал. Мне было стыдно мешать, но и пѣсать тоже хотелось. И я надевал на босу ногу специально привезенные из Ленинграда калоши с красными округлыми грудками (моего покойного дедушку премировали ими в 27-ом году за организацию еврейской самодеятельности в крымском колхозе Ротндорф) и, звучно отсасываясь от линолеума, шагал—как конькобежец—врастяжку и враскорячку мимо необходимой кухни в неотвратимый сортир. Там, в сáмом бессветном конце коридора, у клозетной обколупанной дверцы, лежал на подоконнике торцевого окна поэт из Уфы Абдурахман Розеноер, косоглазо освещенный луной, и ждал, когда ж, наконец, сокомнатнички его отфарштулят яловую эрзя-мордовку Алису. На него, бедного, невзирая на уговоры целого этажа, Алиса категорически не соглашалась, утверждая, что он якобы авангардист, а она строго дает дескать одним только лишь реалистам. «Який вже ж я к бису *авангардыст?*»—справедливо спрашивал Розеноер: «Я же на бóльшую половину башкирин!» Но очеркистка из Черкесска, упорная, как горбунья, всякий раз оставалась непобедимо неубедима. Ее маленькое собачье лицо серьезно поджималось, а острые запятнанные ногти начинали быстренько

заковыриваться наверх, под самое раздвоенное горло,—по серым суконным пуговкам уже было расстегнутой люстриновой жакетки. И нескладный, но благородный некайфолом Розеноер уходил к себе на лунный подоконник—стругать его, пилить и царапать своим огромным складным ножом. Такой уж он был семяточивый древоточец, этот самый мордовкой обиженный авангардистский Абдурахман. «Не стану я больше по лужам калошами чавкать, стану лучше писать у очниц на шестом этаже. Они хорошие, у них подметено, и у каждой чайник, и коврик, и над сиротскую постелькой Анна Ахматова с пре.юмленным носом. А по теплому коридору на рогатых машинках, лязгая и скрежеща, катаются взад-вперед ихние желтые и черные и полосатые детишки...»

«Слыхал?»—остановил меня через пять лет на бедуинском рынке в Беэр-Шеве малоизвестный палестинский драматург: «Розеноер прирезал-таки Алиску.»—«Как?»—спросил я: «Насовсем?» Драматург потыкал заостренной палочкой страшные морщинистые пахи свежесвежеванной верблюдицы и с сожалением покачал головой в мелкошахматной куфье: «Не-а, не совсем.» Верблюдица—странно, такая громадная и насыщено сизо-алая—закачалась на крюке, зацепленном за расщепленный борт рыжего грузовичка.

Или закат это уже был?

ШЕСТОЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Циця решил стать *андрогином*, но не в грязно-обиходном смысле этого слова, а в чисто-платоновском. Для достижения целокупности Циця записался за 14 рублей ежемесячно в подпольную секцию йогической аэробики при дворце культуры железнодорожников. Ему нужно было возможно скорее сделаться как гуттаперчевый мальчик, чтобы свободно давать себе в рот. Без йогической аэробики он не дотягивался даже до курчавой серой пенки вокруг подбородка (очень мешал мгновенно круглевший и отвердевавший маленький каучуковый живот), и целый день после того глухо и сладко потягивали мускульные клинья с обеих сторон позвоночника. А после четырех занятий Циця сравнительно уже легко помавал себя по губам, но—к несчастью—Платон не знал того, что знал к несчастью Платонов—а именно, что *хули не гули, в рот не залетят*,—поэтому Цицю на самом восходе его андрогинной карьеры окостенил радикулит. И он спал сидя. И мы с девушкой, похожей на кожаный веник, ездили под землей на качком электрическом поезде его навещать. Все одно нам нужно было дожидаться ухода полковника на всенощную. Мы сидели, смиренно поезживая ягодицами (она—почти никакими, цыган-

скими) по жирному зернистому дерматину продольной вагонной лавки, и разговаривали о том, как ближайшим же летом совместно поселимся в Пярну. Я об этом со всеми зимними девушками разговаривал, но ни с одною—на что бы она ни оказывалась похожа—так ни разу и не съездил, только лишь их на метро катал. А жаль. А может, и не жаль: летние девушки зимою слабо грели—наверно, и зимние летом не освежали бы.

Над нами ветер гонял по голому черному асфальту шары, спутанные из седой паутины, а на перекрестках, приседая и поднимаясь, стояли в опрокинутых фонарных кратерах отливающие желтым волчки. Всё это немножко выло и потрескивало. Немножко воя коротким горлом и потрескивая искрящейся папироской каталась по длинному полутемному коридору Цицина мачеха, Рашель Семеновна,—низенькая хищная голубка с подпрыгивающими на спине шелковыми кистями сизо переливающейся шали. Циця сидел на кушетке, обмотанный клетчатым пледом, и читал Гёльдерлина. Цицин же отчим на антресолях над нами скрипел, щелкал, чмокал и гулькал. Толстые голуби, утопившие костяные головки в курчавых тройных воротничках, из неосвященных деревянных клеток ему несогласно отвечали своею нескончаемой блатною песней без слов.

Мы сидели у Цицина полуложа, прислушиваясь то к коридору, то к потолку, а сами думали: я:

«Ушла ли уже полковник в германдаду?»; девушка, наклоня гладкую черную голову: ничего; Циця: «Нет, никогда ему все-таки не сделаться андрогином!» (обо мне). Рашель Семеновна укоризненно внесла чай—а она думала, что это я виноват во всех цициных несчастьях, а виноват-то был не я, Прохор Самуилович был виноват, открывший моду на андрогинач и самопознание.

—Я вас провожу, —неожиданно сказал Циця и сидя встал. Плед обвис на нем.

—Котик, —закричала из далекой-далекой кухни мачеха:—Константин! Немедленно вернись! Ты упадешь с лестницы и разобьешься!

—Циця, —сказал я, —Тебе, пожалуй, надо не Гёльдерлина читать, а Китса.

Циця посопел-посопел и, как приземистая курносая Баба-Яга над печной заслонкой, заорудовал поднятыми из-под пледа руками над выходной дверью. Девушка (с налитыми усердной слезой залужёнными кнопочками глаз) втискивала свои многочисленные тонкие ноги в длинные блестящие сапоги. Наконец, втиснула и вопросительно повернула ко мне плоское личико с намертво приклеившейся ко лбу вороной гладкостью. Я уцепил ее за замшевую шкурку и за ворсистые крупные складки под коленками и поповорачивал в воздухе, поспособнее примеряя к дверному проему. Я, понимаете ли, везде носил ее на руках, чтобы под ногами не путалась. «Головой вперед», —посоветовал Циця.—«Ты думаешь, она с

головы уже?—спросил я.—«Или ты суеверный?»—«Конечно, я суеверный»,—с гордостью отвечал Циця.

Циця трусил рядом со мной—согнутый, с охвостьями пледа, высунутыми из рукавов и из-под подола его пролысой рыжей шубки;—как будто я мало того, что несу поноску, но при том еще и выгуливаю какую-то небольшую старую собаку, типа, предположим, эрдель-терьера. Снег остановился: на асфальте изогнутыми бороздками, на деревьях—прерывистыми узкими полосами, а в воздухе—редкими рядами частых сеток поперек Кронверкского. «Пошли завтра в зоопарк?—спросил Циця снизу.—Покатаемся немножко на пони».—«А ты не упадешь? Меня твоя Рашель Семеновна на крохи говенные разметет, а отчим турманам скормит»,—и я дунул на девушкину голову, чтобы отдуть свесившуюся ровную прическу, заслонявшую мне вид на Цицю. Моя девушка мальчиговая обеими руками схватилась за лоб (так я никогда этого лба и не увидал, хотя, тем не менее, очень сомневаюсь, чтобы была на нем какая-то особенная каинова печать, скорее—судя по тому глубокому льду, что вообще пронизывал всю ее прямую узкую кость—новокаиновая блокада), но боковые и задние волосы на миг откачнулись, и стало видно, как Циця вместо ответа легкомысленно машет рукой, где-то уже в самом низу, у тротуара;—мы еще не дошли до Горьковской, а его, бедного, совсем скрючило. Но развеселился

он отчего-то необычайно. Семенял все быстрее, подскакивал, хлопал в ладоши, спугивая мороженных голубей, теснящихся к густо парящему люку в мостовой. У кинотеатра «Великан» мы перешли дорогу и здесь, на широкой хрустящей и игольчато поблескивающей аллее (в конце ее неровно светила летающая тарелка на вечном приколе), Циця, с его вечными приколами, и вовсе разбушевался—погнался, тоненько рыча и хохоча, за длинной драной кошкой, которая, в свою очередь, скакала, сжимаясь и разжимаясь, за полуободренным припадающим голубем. «Циця, Циця!»—закричал я насквозь девушки, наискось приоткрывшей для лучшей звукопроводимости неглубокий сиреневый рот. Но Циця мчался все быстрее, сгибаясь все больше, и вот, наконец, коснулся дорожки козырьком своей шерстяной кепочки с опущенными ушами и—покатился кувырком—колесом—шаром, вздымающим снежное пылево,—дальше,—за кошкой, сиганувшей в бок, по клеенчатому снегу, в сложную коленчатую тьму деревьев, и—мгновенье—исчез там вслед за нею. Только я и видел, что медленно обваливающиеся выбросы ледяного песка и дробленой земли; только и слышал, что оседающий на басы и отдаляющийся цинцин взвой. Потом все стало, как прежде,—нигде только не было вокруг ни Цици, ни кошки и ни даже ни голубя.

«Ну чего, ушла полковник в германдаду?»—

спросил я у пожилого эрделя, поднявшего курчавый подбородок со скрещенных лап. «Мама уже ушла на работу,»—огорченно сказала девушка, выйдя из спальни, и маленькими замерзшими руками начала расстегивать свои очень тугие и очень белые штаны.

ЗАГОРОДНЫЙ РАССКАЗ

Фима Мордкин, который умер, всё норовил отслоиться от моей правой руки и, как еврейский Есенин, обнять морщинистые колени какой-нибудь сосёнки или же влезть под дыряво-колючую юбочку ели, чтобы проникновенно прокричать в их пахнущую горечью и сыростью кожу *Будь другом, насри кругом. Будь братом, насри квадратом. Будь сестрой, насри звездой.* И расхохотаться в мелкие финские звезды, до сих пор так и не научившиеся по-русски. Особенно он гордился последней частью триптиха как своим личным изобретением. Вообще-то Фима был цыганисто мрачен и молчалив, но в этот день необычайно раздухарился, разухарничался, разохальничался—попросту говоря, набухался, да так, что был изгнан из *Рены* до окончания срока путевки за дебош—вместе с восемью другими маленькими сердитыми евреями—и теперь ведом на дачу к отдаленным знакомым для переночевки. Из них умер один Фима, остальные уехали в Америку.

А левой рукой я волок Ильюшу Хмельницкого, который ничего не говорил, а только всё падал. Поднимать крупного Ильюшу в гладком кожаном пальто из ямины, по-лосиному пропоротой им в по́верху тонко засохшем (на манер розоватой нор-

довской меренги) снегу, и так было бы нелегко, а тут еще ходи Фиму с соснами разлучай... Набитая сапогами и шинами дорожка вдоль железнодорожного перегона Репино-Комарово сверкала и скользила; морозная, но безветренная ночь предъявляла необычайную ясность и глубину вырезных теней в ослепительном снегу; с темно-синего неба звезды, как уже было сказано, не понимали по-русски, но низкая отчетливая луна, похожая на утреннее яйцо с ровно отрезанной верхушкой, наоборот, всё понимала и плыла надо мной в своем колечке из взбитого света сострадательно. Она, насколько мне известно, не умерла и в Америку не уехала, а вернулась в Германию, где и висит себе сейчас спокойненько в плетеном окне справа от моего стола, аккуратно выеденная до половины. Из-за дерева шатнулась к нам длинная узкая тень, а за нею разбойничий тулуп на журавлиных ногах. Когда мы с ним поравнялись, тулуп пристроился четвертым и молча зашагал, стараясь попасть в ногу. Но мы и сами не могли. После нескольких тягостных минут Фима вдруг резко остановился, обвис на моей руке и веско оборотился к новоявленному Д'Артаньяну всем своим засыпанным хвоей крупновеким, толстогубым лицом: «А ты еврей?»—«А то кто же»,—не раздумывая отозвался тот. Все испытали невыразимое облегчение, кроме Ильюши Хмельницкого, который упал. До дачи было минут еще тридцать обычного ходу, а такого—и все часа полтора. А ведь день начинался

так хорошо! Во-первых, еще утром, когда мы с Ильюшей катили на станцию Репино, в одном с нами вагоне ехал бородатый Зассерман, которого потом проткнули в лифте отверткой. «...а я ей: понимаешь, хочу спать, ну просто спать, спать и всё!—и отвернулся к стенке! А она меня от злости укусила здесь сзади за левую жопу», —торжествуя рассказывал он стайке завистливой молодежи. Во-вторых, когда мы уже играли во флиппер, нас взялся поучать великий человек по этому делу, Алеша Бровкин, мающийся в ожидании заказа вставить кому-либо пистон. «Ну что ж ты ее, как пизду?!»—стонал Алеша: «Ее же нежненько, нежненько надо, как пизду!» При малейшей попытке возражения он вскидывал курчавую белесую голову и, угрожающе урча глубоко проваленным «р», восклицал: «Ты на меня баатон не кр-р-рааши! Я парастой саавецкий п-пар-р-рень!» В-третьих, мы наблюдали акт выставления девяти маленьких сердитых евреев, которые сочлились затем в гостиницу мимо контрольных бабушек через все возможные щели, и окончательно простились с нею только уже вечером, в ресторане, осуществив свой знаменитый *репинский срыв*. Последним за столом остался самый маленький, взерошенный и глупый Персивер, которого по всем трем причинам даже и побили не очень, хотя простой советский парень Алеша Бровкин присутствовал и страстно подавал репинским черноусым халдеям свои непонятные советы. В-четвертых———

...А Фима перенес лирический задор с хвойных пород на широколиственного Хмельницкого. «Хмельницкий, угадай, как будет по-румынски болван?» Ильюша раскрывал заиндевелые глаза и заинтересованно мычал. «Болван по-румынски будет «болванеску!» Ильюша падал. Фима Мордкин тоже падал. Но теперь подымать их помогал Геня, оказавшийся близнецом отсутствующего брата. Брат уродился круче Гени и очень его обижал—сперва, несмотря на Генины убедительные просьбы, не запускал его под видом себя к своей ляльке, хотя что, жалко ему что ли? а потом, когда Геня завел-таки собственную девушку, певшую в хоре озеречкой баптистской молельни, целыми днями басисто над ним смеялся: «Ха, хористка. Поет—но не дает!» В конце концов их обоих посадили, но по разным статьям: Геню по «Письму вождям», а брата по «Жить не по лжи». Неожиданно встал быстрый, мелкий, завихренный снег, заслонивший все и вся, если было чего заслонять. Мир существует в форме снегопада—и мы оказались как бы посередине густоты звезд, в ослепившей нас темноте и в тишине—оглушившей. Но было это недолго. Снегопад исчез как не бывало, и где-то пронзительно закричали и застучали. Подобные звуки я слышал еще лишь один раз, когда в зоопарке под Тель-Авивом с восхищением наблюдал, как ебутся большие старые черепахи. Но в данном случае это в Литфонде писатели играли на бильярде. Значит, надо было переходить через по-

лотно и углубляться в глубоко мерцающие улицы Комарова.

Высокая железная печка трещала. Семь маленьких сердитых евреев сидели на трех кроватях в смолистом пару протрезвевшие, нахохлившиеся, без штанов. Фима соскреб с себя мокрые джинсы, прицепил их к печке и сказал, указывая пальцем на белые кальсоны в чудную продольную нежно-сиреневую полосочку: «Вот, выдали моему дедушке в одна тысяча тридцать восьмом году, в Казанской пересыльной тюрьме. И до сих пор как новенькие». И сел на кровать. «А Персивер где?» — спросил кто-то чуть погодя: «Ты же предпоследним рвал. Персивера — не заметил? — поймали?» — «Он в *старых большевиках* ночует», — услужливо сказал близнец Геня: «У него там лялька отдыхает. Можно, я у вас за него поночую?» Через два года он бы сказал не лялька, а *телка*, а еще через два — *туловище*, а через десять минут мы с восстановившим осанку бая Хмельницким стояли на станции Комарово в надежде на наипоследнюю электричку.

———а в четвертых, в нижнем баре Репицкой тургостиницы я встретил мою два года назад одноклассницу со стайкой узколицей зассермановской фарцы. Я кивнул проходя, фарца засмеялась над моим не личащим прикиду высокомерием. Она сказала своим тягучим, потрескивающим голосом: «Ну вы, не стибайте моего одноклассника». Я

отвернулся от ее молодецких плечей, сильных узких бедер с продольными выемками посередине и лисьего лица с маленьким подбородком и широким лбом. Только нос был не лисий. Нос был лосиный. Три года назад я ездил к ней на дачу в Лисий Нос вместе с другой одноклассницей—молчаливой, тонкобровой, милой—и напарным одноклассником-татаряном. Другая на следующий год умерла, эта через одиннадцать лет уехала в Америку. Не знаю только, что же случилось с татаряном. Вероятнее всего, ничего.

ЗАЛАЭГЕРСЕГСКИЙ РАССКАЗ

В глубоком окне магазина висел на блестящем шнуре глазуренный кувшинчик, а из него наискось торчало павлинье перо, похожее на скелет гигантской селедки с ярко-зелеными глазами. Разинув алые продолговатые пасти, к кувшинному рыльцу прислонились косыми закругленными каблуками длинные-предлинные штиблеты на отлакированных по-блатному пуантах. Перед натюрмортом стоял режиссер в голубой курточке и широкими плоскими ногтями зачесывал за уши серые и желтые волосяные полосы. Его лоб, взятый в квадратные скобки, переходил, экономя на переносице, в худощавый нос, а маленький круглый подбородок и жевательные желваки под скулами шевелили задумчиво и взыскательно пепельной мелкокольчатой бородкой. Дымные джинсовые джинны, мы с ним уже трое суток как раскупорили изнутри пыльную четверть, безграничную нашу родину (которая за три с тех пор истекших года вконец выдохлась и стала наконец истинно безгранична), потом с разлинованных Аэрофлотом небес пролились на нерусскую землю и дожидалась теперь в предрождественской сиреневой слякоти послеобеденного открытия магазина. Пахло мусорным зимним солнцем, копченым

дымом, перченым горячим вином. Хищные голуби без стеснения бродили вокруг на грязных высоких лапках и косо глядели на режиссера. Но он не обращал на них никакого внимания, и бедные поклеывали пока черно-крупитчатую дрянь, застрявшую в решетках стока. Стоит мне, кстати, ступить за какую-нибудь границу, как первым делом я полной подошвой наступаю на собачий высерок—что на посинённую фонариками китайского ресторана вавилонскую пирамидку с бульвара Сен-Жермен, что на парочку темно-желтых обоеконечнозаостренных гусениц с берлинской темно-розовый мостовой, что на зеленоватую вегетарианскую лужицу с деревянной эспланады, ведущей от мелких кирпичей Брайтона к кониайлендским дробно-сверкающим колесам. И за эти три первых дня черное будапештское перво-говно не стерлось еще окончательно с рубчатого испода моего правого ботинка, как я ни шаркал им по центральноевропейским тротуарам. «Олег, голубчик, да не майтесь вы так,—мягко сказал режиссер, не отводя глаз от витрины.— Пойдите пока в театр, я потом подскочу». И, отогнув растопыренную ладонь, свернул по очереди все ее крупные, чисто вымытые пальцы. Я же чувствовал себя лучше умытым изнутри—практически полым, хотя и безвоздушным, хотя и с корочкой засохшей желчи в основании горла—потому что всю предыдущую ночь блевал на коврик в загородном замке четырнадцатого века, отведенном под

наше с режиссером местопребывание. В одной ровно побеленной комнате стояло восемьдесят восемь пустых, одинаково застеленных кроватей, а в другой двенадцать. Мы выбрали вторую как более уютную. Два вечера ограничивались мы на ужин бутылкой жирного токайского и ученым разговором, а на третий, после банкета, выпили все, что осталось в столовой от банкета. Театральная секция конференции «Будущее торческой интеллигенции» закрывалась сегодня, хотя мы ее вчера уже отвалили с гусарским битьем бокалов, с произнесением тостов на неизвестных языках и с удивительно стройным хоровым исполнением (соединенными славяно-угро-еврейскими силами) двух любимых песен творческой интеллигенции *Акварелисты*, *Сталин дал приказ* и *Мы красные акварелисты—и вперед*. Нет существа, которое может выпить так много и изменить выражение лица так мало, как венгр. Кроме разве слона. Дневной рацион слона, подаренного Петру I персидским шахом, включал ведро зеленого и ведро виноградного вина. Сторожа, естественно, слону ничего не давали, да еще и склоняли его русским матом. Слон обиделся, простудился и умер—вот о чем я думал, отчаянно поглядывая на дверь и отрабатывая свои и пропавшего режиссера суточные докладом на тему *Трудно торговать, когда торговать нечем, особенно если торгуешь собой*. Поскольку на маленькой золотозубой переводчице в наездничьих сапогах вчера женился увозом представитель му-

зично-драматичной общественности породненного города Херсона, я надеялся, что никто меня не поймет, но увы!—наивность, с какою я верил всем встречным, сладострастно-вежливо представлявшимся двоечниками по оккупационному наречию, хоть и поколебленная вчерашним пеньем, оказалась справедливо наказана. Я убежал, а в затылок мне летели консервированные перцы по семьдесят две копейки банка. Задняя дверь театра прошелестела и тяжело вздохнула за мной, и я остановился в отчаяньи. В семь часов вечера город уже умер: ни фонаря не светилось, ни человека не шло—редко-редко где матово голубело окошко. Как я сыщу в этой ночи маленького русского режиссера с грустным и грубым лицом?! Проклятая Европа! ты заглотила его — интересного собеседника, талантливое постановщика, примерного мужа и отца, в чьей характеристике на заграникомандироку было написано *Пользуется любовью актрис, но не пользуется ею*—в тот самый момент, когда вся жизнь его, всё его существо должны были перемениться! Он еще и сам этого не знает, а я выкинул ему червонного хлапа, и марьяжную встречу, и неприятности в казенном доме. Не говоря уже, что у него мой обратный билет... Я заметался по черным улицам—хоть милиционера найти, чтоб запросил по радиации *предварилку* и *приемный покой*... О Боже ж ты мой!—я прыгнул и ухватился за родимый мышиный рукав.

—Ich hab' das Ding doch da gekauft!—возму-

щенно закричал милиционер и замахал руками себе за спину. Потом случайно поглядел в мои жестяные глаза и стал покорно стягивать шинель. В ужасе и стыде я побежал от него прочь, чувствуя, как наполняется металлическим воздухом полость внутри меня и маленькое сердце размножается делением. Только лиловое небо, по которому красным шариком летел самолет, еще освещало этот город. Я пробежал каким-то длинным двором (длинные кошки с длинным шипением спланировали в разные стороны от мусорного бака), оказался в хрустящем туманном льдом скверике (на мгновенье испугавшись, что выскочил из какого ни на есть, но города—в дикий лес), обогнул серые казенные колонны и вдруг выскочил к уже разоренному на ночь, но ослепившему меня длинноголовым фонарем и несколькими синекрасными гирляндами стану рождественского базара. На краю площади перед зарешеченным лабазом стоял режиссер в голубой курточке и поглядывал на часы. «Представляете, Олег, так всё еще и не открыли!»—сказал он протяжно. Я глянул мельком на свое толстогорлое, ушастое отражение, скользящее поверх погашенных штиблет, и сказал: «Знаете, что́ я всё хотел спросить, но всё забывал—как поживает, кстати, актриса Казáкинова?»—и у меня похолодело вокруг копчика. Он пожал низкими плечами и вздохнул: «Пойдемте, я расскажу вам в поезде. Мы же еще не опоздали?»

ВОСЬМОЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Передние зубы у нее были, как две полураскрытые внутрь дверцы, и нос волнистый, и глаза слишком синие, и что-то бычье в маленьком набыченном лбу, однако ж она мне нравилась, *несмотря ни на всё*. Еще давным-давно, когда я случайно стоял на спине пыхтящего, качающегося, цепляющего руками песок маленького Ильюши Хмельницкого и заглядывал сверху в передевалку на курьих ножках, до геометрического предела упрощенный, потешный вариант лабиринта из потёчно покрашенной жести (только вот синей? зеленой? или темно-красной?—как вспомнить?), и случайно увидел ее воображаемые мокрые груди с маленькими сизо-лиловыми острями по середкам как будто недавно заживших маленьких ожогов,—она мне понравилась. А с неба падали в то лето на пярнусский ветреный пляж бессчетные божьи коровки, жесткими красными и желтыми полушарьями чиркаясь о лица, плечи и колени.

Родители наши были дружны по пляжу и через несколько лет достали нам два билета на «Заседание парткома» в БДТ, и я провожал ее до дому, чинно отзаседавши свое в партере—по черной, густой, ячеисто поблескивающей, пахнувшей сонной собакой Фонтанке, благо провожанье было неда-

лёкое—через деревянный, в редких снежных искрах мост и налево, к Толстовскому дому. По праву провожатого я поцеловал в парадном ее неровный рот с неподвижным треугольничком мокрого языка (сладостно напомнившим о гладкоспинном эклере и о вяжущем десны лимонаде «Дюшес») и смущенно засунул руку в темно-чересполосую шубку над предпоследней пуговицей. Она икнула, бедная, дюшесом—и ее живот непроизвольно втянулся, и ладонь легко прошла под пояс черных мелкозернистых штанов, но всё еще следуя желтым шелковым путем финского *батничка*. Бесконечный он у нее, что ли?... Еще через шесть лет мы увиделись во дворце культуры железнодорожников на подпольном показе мультипликационного фильма «Ежик в тумане».

Она сделалась настоящей девушкой-вилочкой двумя (длинными в широких черных брючинах) зубцами вниз и звонко покрякивая читала вступительное слово, из которого я запомнил только, что *каждый художник испытывает полудетское желание побыть ежом*. Режиссер Чичюкович подтолкнул меня локтем и уважительно прошептал, что у нее эдипов комплекс. Странно, я знал ее папу, кривоногого, как немец—он восемь лет сидел на складном полотняном стульчике за пляжным рестораном «Раннахооне» и закладывался на третью даму. Сколько его ни учил бухгалтер Коляша, король пярнусского преферанса:

«Абра́мович, на третью даму не закладывайся», все равно закладывался, и когда не с чего, ходил с бубён, и путал масть, и мацал прикуп, и выскакивал из-под руки, и когда с ящика падал коробок, тянулся его поднять кружным путем мимо удобно вложенной в кривизны ног седоворсистой пологой животины. Сомнительно как-то, чтоб к нему можно было испытывать столь ослепительно-изысканное чувство, хотя всё, конечно, случается. Внедолге она оказалась верзильной, остроносой, в пепельных штопорных завлекалочках под волосатыми висками пэтэушницей с Волховстроя:—черные брюки туго забиты в высокие сапоги,—и слабо-возмущенно бормотала мне в темечко *Я же еще девочка!* и завистник армянин Иванов, сам и заманивший меня в дом отдыха «Ягодное» на Карельском перешейке за семь с половиной профсоюзных рублей, но не в сезон,—включил, якобы случайно, свет в номере. Наутро мы обнаружили перед подъездом надпись в картонажном снегу крупными неровными бороздками с желто-оранжевым отливом: *АЛИК ДУРАК*. Как ей это удалось выписать на морозе тридцать по Цельсию, до сих пор интересуюсь я знать. ...А раз прикинулась дочерью южных морей, великой Инкой Крамаренко в скрипучих колготках, ласково-железно притиснувшей мою руку на своем круглом, витом, прекрасно разработанном пупке—как позже выяснилось, из самых что ни на есть лучших побуждений. Когда же ночевала она у девуш-

ки, похожей на кожаный веник, я обвел всего лишь два раза ртом верхние полукруги глубоких оснований ее больших тонкокожих грудей, таких мягких, но таких звонких, что казалось, они наполнены каким-то густым, но легким и щекотным газом, — и всё же надо было уходить в другую комнату на скрипы и всхлипы, потому что я-то ночевал не у, а с (полковник была в германдаде). Она позвонила через пару дней, и другой раз, и третий, а я невежливо уклонялся, ленясь провожать ее целый месяц, или сколько бы это у нас продлилось, на трех троллейбусах аж на Поклонную гору. Проклятый Ленметрострой!

А потом, лет еще через одиннадцать, я повстречал ее с авоськой подбитоглазой хурмы на иерусалимском рынке—бедная, из девочки-вилочки двумя зубцами вниз она превратилась уже в настоящую женщину-ложку продолговатым, неравномерно потемневшим хлебалом вверх и вперед. Она писала при Иерусалимском университете диссертацию о первой еврейской оперетте «Цыганский Арон» и чуть что уныло цитировала из нее забойную реплику комической бандерши мадам Шнуркес *Евреи обретаются не в авантаже*. Или вот—обсевшая своим огромная веселым телом утлый плетеный стульчик в открытом кафе у Люксембургского сада: *Я последняя Танька в Париже*—всё повторяла она, смеясь и растирая обеими руками в крупных почернелых перстнях веснушки на своих полных заплаканных щеках. Но окон-

чательно я понял, что мне от нее никуда уж не деться, это когда в простуженной мюнхенской закуской, полной вежливого гитлерюгенда, она запустила ко мне по длинному столу глиняную тарелку картофельного салата—замороженного до зубного лома сернистого пюре с ветхими луковыми перьями—и погладила себе верхние ноги растопыренными ладонями в кружавчатых кармашках короткого фартука. Почему-то почти во всех остальных случаях жизни она случалась парикмахершей, сеющей неподвижные замороженные мурашки внутри обвернутого белым куколом тела и перерезающей своими внешне бессцельно полязгивающими в воздухе ножницами спутанные ниточки времени в ближнем вокруг, —а почему так?—спросите у Самсона. Наверху через каждые пять минут хлопала с лязгом всех задвижек и звоном всех цепочек тесно проклепанная желтыми и белыми полушарьями дверь квартиры—Ариадна Моисеевна, бабушка, высовывала ментально зябнущую голову в редких синих кудеречках и ушлепывала по новой—мыть с керосином маленькие дрожащие руки: для контрольного осмотра. «Какие заседания стали длинные», —бормотала она себе под нос, дробно скользя к ванной по глаголю лакированного коридора. Я между тем уже дошел до предгорий Синьцзяна.

*Девонька милая, девонька славная, девонька—
радость моя* напевал я, проходя с легким хрустом

по высоким бессветным дворам Толстовского дома. Облачко у моего рта облеплялось прозрачными снежинами и оседало. В черном мускулистом небе летело наискось газовое вымя луны. Я улыбался, вспоминая маленькую пуговицу, застегивавшую батничек на самой нижней перемычке (чтобы спинка не морщила):—шелковый путь превратился бы в кругосветное путешествие, кабы моя рука могла бесконечно удлиниться, как у вампира. Я нажал на эту пуговичку, попытался (напрасно) раскачать ее в шелковый петельке, и девонька—радость моя вздохнула всем своим счастливым бычьим личиком в лестничном подталом свеченьи. И уже, кстати, было пора—Ариадна Моисеевна как раз набрала справочное городских моргов и больниц.

ОДЕССКИЙ РАССКАЗ

На Дерибасовской группами по трое стояли дерибасы.

В окне продмага маленький мальчик, жуя, пил сок. Две кипарисные тусклые ветки лежали на подоконнике крест-накрест поверх пыльно-блещучей ваты и пахли внутрь магазина лакрицей.

С Потемкинской лестницы специальная старушка в стеганой фуфайке каждые полторы минуты сталкивала детскую коляску. Мамки вверху чинно двигали очередь приставным шагом, а папки внизу грудились, хохоча, и ловили. Это стоило рубчик.

Под широкой черногранитной бородой значилось *Карлу Марксу от жителей Центрального района.*

По низким улицам перелетали со скрипом и треском различные небольшие бумажки.

Вослед за бумажками перебежали карликовые украинцы, старательно изображая евреев.

В подземном переходе жестковекый еврей с обернутым взбитой марлей длинным горлом (старательно изображая украинца) вырезывал желаные силуэты из крутящихся вокруг ножничного перекрестья матовочерных листков. Это стоило рубчик.

Город был в четыре слоя покрыт выцветшим йодом.

Черное море, шипя и качая бумажки, насканивало на стадион «Черноморец». По парку имени Тараса Шевченко маршировали коренастые пионеры в синих юбках и тяжелых морщинистых сапогах. Два пионера с автоматами стояли у обелиска и смотрели перед собой.

Премьера «Морозко» откладывалась до весны по проискам интриганов и антисемитов. Падла-снегурочка ушла в декрет. Режиссер Чичюкович с горя глодал бледную крупнозернистую кукурузину, натерев ее промежду волос серой солью. Это стоило рубчик.

Я вставал среди ночи с гулко звякавшей и охавшей всеми своими пустотелыми косточками раскладушки. В окно узко втекала перемазанная облачным йодом луна. Освещенный ею Чичюкович спал с краю полуторной тахты, высунув вздутые пяточки из-под одеяла и задрал мшистую руку на невидимую жену. По тараканьей дорожке, поплескивая луной в цинковом ведре, я выбирался в коридор. Я чиркал спичкой и отыскивал нужный выключатель. Двадцать восемь лампочек тремя гроздьями выглядывали из дозорного оконца тупоугольного сортира. Двадцать восемь овальных сидений в три ряда висели на гвоздиках по длинной стенке. Остальные стенки были короткими. Напоминало Русский музей. Я снял цельнолитное, тяжелое, рыжее с темными крапинками, на котором

было мелко процарапано и засинено химическим карандашом *Чич-вичи*. С потолка в горшок капнулись два продолгих таракана и—шевелия усами и ерзая полупрозрачными янтарными спинками—завязли в говне. Я столкнул их в бездну заостренной палочкой и досыпал немножко мелкозернистой и пузырчатой воды из ведра. И пошел досыпать. «Вы актриса, или вы кто?»—шмелиным баритоном корил Чичюкович декретную снегурочку. Рабочий, стаскивавший со звякающих раскладушечных штанг морозкиной декорации голубые простыни, апплицированные станиолевыми снежинами, заметил, проходя: *Мораль сей басни такова—в гондоне дырочка была*. Чичюкович—рыжий конек-горбунок в кожаной сбруйке—одобрительно заржал. Снегурочка, пожимая ливерными плечами и поправляя мизинцами тонкие волосяные серпантины на лбу, вяло оправдывалась, что *а шо такое*, они, дескать, с мужем вывешивали постиранные *гондончики* за окно сушиться, а какие-то *гады* возьми их и *утарань*. «Чи горобець, чи сокил»,—сказал рабочий на обратном ходу за полутораметровым американским шпионом с растопыренно дрожащими поролоновыми конечностями и круглой рукояточкой в спине. Бурые шпионские патлы клоками торчали в стороны и вперед, на полном брезгливом лице криво сидели большие очки. «В общем, товарищ Горобець,—сказал Чичюкович,— Вы своей невоздержностью погубили мою самую пронзительную постановку.

Я не могу стерпеть до весны и уезжаю в Джеккаган ставить «Конька-горбунка». Толстая снегурочка повалилась на сцену и горестно зарыдала. И мы с Чичюковичем сели в трамвай с надписью *Запрещается гражданам высовывать голов из окна* и поехали на Молдаванку писать пьесу про декабристов.

В этом черном, жирном, как будто прорезиненном доме мой прадедушка держал зубоврачебный кабинет. К нему ходила Сонька Золотая Ручка вставлять зубы любовникам. Себе так и не вставила, всё говорила *успеется*, в результате чего доктор Чехов и задокументировал ее на Сахалине без зубов. Теперь одна из комнат в прадедушкиной практике принадлежала режиссеру Чичюковичу. Он ее честно высидел, тринадцатилетним мальчиком на полные сутки запертый здесь с мертвой тетей Фирой, пока родители метались по конторам, оформляя родственный обмен. Тетя Фира, завернутая с головой в пожелтевшие по складкам простыни, пахнула всё жирнее и слаще, всё жирнее и слаще, а иногда сухо и отчетливо пукала. Маленький Чичюкович боялся ее и сидел у двери, глядя в замочную скважину. Иногда в дверь стучались, и Чичюкович тоненько кричал в сторону: «Тетя Фира! Тетя Катя Доценко пришла за здоровьем узнать и с Новым годом поздравить. Пустить?» Отбегал к окну и ворчал оттуда с хрипами: «Хай она кус мир ин тухес». — «Шоб ты сдохла,

старая крыса», — бормотала тетя Катя Доценко, отходя. В окне скрипела ветреная южная зима. Жена Чичюковича, наклонив гладкую голову с несколько отставленными ушами, похожими на морских коньков, внесла кастрюлю салата-оливье. Мы сели, держа в полусогнутых руках длинные фужеры, через край полные добротного советского снегу. Заснеженный телевизор сыграл свою полночную песенку без слов. Мы начали разгибать руки к середине стола. Пенки падали в оливье. По двери застучали требовательно. С неотпитым фужером чичюковичевская (еще два месяца, а в Джекказгане он, конечно, женится на эстонке) жена выглянула. «Чичюкович, достань еще тарелки — пришла тетя Катя Доценко поздравить с Новым годом. Принесла чечевицы. «А помнишь, товарищ, домашнюю елку-горняшку со сбитым подолом? и другую — мрачную цыганскую барыню в актовом зале школы? Помнишь ангинозную мусорную вату магазинных витрин? и выбитые до сверкающей кости черепа площадей? Пионерскую кожуру мандаринов? Лимонадное онемение в переносице? Пожилую снегурочку с пятнистыми пятиугольными менисками, которую всё никак не могли окончательно доукрасть ни волк, ни Кощей, ни американский шпион? Не-могли-не-могли, а вот всё же украли! ...А мы, еще существующие граждане уже не существующей державы, всеещеподданные правительства Деда Мороза, с вечным на-

шим национальным кличем *Раз-два-три, елочка гори!*—за ней, за снегуркой, рванули в чужие края: не сидит ли она, старенькая, беленькая, в бумажном кокошничке с продресью из битого стеклышка, где-нибудь в уголку на каком-нибудь вокзале лиловой декабрьской Европы, ожидая объявления по трансляции *Фрау Снегурочка! Пионерская дружина школы N216 Куйбышевского района города Ленинграда ожидает Вас у пригородных касс.*

Но нет, никто ее здесь не знает, не видел...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАССКАЗ

Погасший поезд стучал с отлязгом по рельсам—по падшей лестнице, перенесшей (с бесконечно сужающеюся пользой) идею подъема на плоскость. В высшем смысле он и не двигался—на лестнице этой сонному Иакову никто никогда не встретится. Четыре легких железнодорожных подстаканника подрагивали и поезживали на купейном столике, в кривой белой и набеленной полосе, как четыре пустоносых профиля поэтессы Буртынской. Дерматиновая шторка криво застряла в самом верху окошка, и там, за нею, отлетали от обочин фонарные колоколы, не успевающие даже покачнуться. Я, свернув шею, глядел со второй полки туда. Неразборчивый рельеф неразъемной ночи претендовал осветиться неподвижными звездами (которые все казались полярными, такие высокие, маленькие и синие они были), но безуспешно. Это дело луны, а вся она вылилась уже на столик, заваривая дёготный блеск в подчеркнутым проводничьей содой казенном чае. Бедная маленькая русская луна с неравноугольной протертостью посередине—и на опивки тебя не хватило. Пахло сухостью, тьмою и пылью, чем-то неуточно бакалейным—складским и мышинным. Трое соседей лежали спелену-

тые сырыми простынями, вокруг их голов почти зримо утолщались облачка чужого дыхания. Я думал, снять ли мне с себя на ночь нежно-кремовые турецкие кальсоны со светлым мягко-ворсистым исподом—или оставить. Как-то я спал в одном поезде не снимая кальсон, утром прыгнул вниз молодецки и, целясь в ботинки, закачался между двух верхних полок на локтях, как деревянный медведь с Кузнечного рынка меж своих узких некрашенных костыльков...—и целый день потом себя молодцом не чувствовал. Кальсоны такая стыдная, детская, домашняя вещь...—и трусы-то, в сущности, некая уступка: истинный муж—ёбарь-перехватчик, маленький, злой и причесанный—надевает брюки на голое, жесткое, наполненное железною кровью тело, чтобы только книзу молнией вжикнуть—и—предъявиться всеготовно при случае, который всегда может случиться. Дверное зеркало ожило и заполнилось медленной решетчатой белизной станции. Поезд множественно блякнул, дернулся и встал. Железнодорожный голос с манной кашей луны в безязыком колоколе железного рта раскричался какими-то неразборчивыми номерами. Попутчики зашевелились под полосатыми горками одеял, но не проснулись. Как и всякий русский переезд, этот был похож на пространный морг под открытым, но не нами, небом: прожекторский свет, брошенные многоколесные платформы с мертвыми телами земли и труда, низкие строения, маркированные

небрежными знаками, неизвестными смертным. Как смертельно бывает холодно в русских поездах! Я ехал однажды в юности со знакомой поэтессой на подмосковную маевку миннезингеров—и так холодно стало, что как сидели и шептались с полночи о высоком, так и обнялись на остальные полночи с ее полым кривокостным тельцем под двумя железнодорожными короткошерстными одеялами: незабываемы тот ужас и отвращение, с какими внезапно я почувствовал—встает. Все мои члены, включая и этот, одервенели, оцепенели—ничто больше не шевельнулось, но ничто и не расслабилось: ни отодвинуться я не мог, ни придвинуться. Мы были как брат и сестра, но никогда я больше не умел без ненависти смотреть на ее виновато-самодовольное лицо со стесанным подбородком, убранном внутрь звонкой шеи. Зато через семь лет я знал уж наверное, как это оно было на г-дъезде к Туапсе у курсанта и курсистки—у краснощеких близнецов на пути следования к отеческим гарнизонным пенатам—положенных жизнерадостным проводником на одну полку в южном, омертвевшем и затихшем от полуторасуточной духоты поезде. «Ничего, поспите ночку валетом»,—сказал проводник, ожесточенно чеша под голубой рубахой. Интересно, можно ли спать валетом без храна?

Железные железы состава ощутимо напряглись, раздулись и необлегчимо пыхнули. Купе качнулось, свет сбежал с зеркала и ушел вниз на-

против, в полуоткрытый рот спящего на спине грузина. По широкой обглаженной лестнице отраженного света, с тончайшим жутким зудением, слышимым в промежутках между колесными толчками, покатился вниз, кувыркаясь, одинокий зимний комар с лицом исхудалого истребителя. Грузин закрыл рот, шевельнул, как шелкунчик, мшистым кадыком—и стало темно и тихо. Поезд поехал.

Кальсоны я снял, но, приподнимаясь на голове и пятках, надел джинсы и пошел курить. Посторонняя ночь была не видна через забранные тремя темно-малиновыми железными прутами окна тамбура—в них отражались лишь: все дышащее лицо, и вокруг него дым, и за ним противоположное окно в каких-то невычленимых желто-черных огнях. Точнее, противоположная дверь. А в углу у двери в междвагонный переход сидел на холщовом бауле худой пьяный старик в стеганой ромбами синей телогрейке. Его беззубые щеки были до глаз покрыты тесными белыми точками. Через каждые две минуты он вставал с расплющенного баула и отряхиваясь шагал пару раз туда-сюда. Он был в хромовых сапогах, привезенных с войны, и вдобавок еще хром, вероятно, с тогда же. Собственно, я недолюбливаю тамбуры, эти морозные трясущиеся домики с четырьмя дверьми и без единого выхода. К тому же они почти всегда почему-то полны моряков и их девушек в толстых сиротских бушлатах. Девушки, как одна, огорчительно похожи

сзади на море. ... Вот и сейчас дверь из вагона открылась и появился матрос. Он поднял чуть наискось подбородок и округлил глаза, как делает русский человек, когда *от себя* говорит о политике, и, словно продолжая прерванный разговор, тонким голосом сказал: «... думаю, война будет. Но не с Америкой. Они в сорок пятом году наши катюши видели. Будет с Китаем, Японией или Израилем. Ты как думаешь, отец?» Старик, как ни странно, трезво и равнодушно-скучливо поглядел в сторону, на мое широковолосяе дымное и темное отражение: «Как ни ссы, последняя капля в трусы». — «И то верно», — неожиданно согласился матрос: «Пойти посикать, что ли...» — и перешагнув тамбур, с усилием отворил дверь в зажатую между двумя летящими покачивающимися вагонами русскую зиму. Я бросил окурочку ему вслед и пошел в купе. Комар, проглоченный грузином, тем временем очнулся, напился изнутри пряной, жирной грузинской крови, вырос до размера маленькой мыши, перебрался в основание носоглотки и невероятно усилил через три ее волосатых отверстия свой голос, не потерявший, однако же, природной пронзительности. Всё, понял я, мне не заснуть никогда.

«... поезд прибыл в столицу нашей Родины город-герой Москва», — сказал железнодорожный голос из гладко-пупырчатой купейной стенки, за-

пнулся, пошипел с треском и поправился: «...город-герой Москву». Купе было уже пусто.

ДЕВЯТЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАССКАЗ

Вокруг нашей могилы в кладбищенской тесноте стоят светлотелые сосны, и твердое сизое небо располосовано ими сверху донизу.

Вокруг нашей могилы лежат и сидят черные, серые, белые камни в низких непокрытых клетках и без клеток; и чернеет в ровных рвах мягкорезиновая вода с недвижно плывущим по ней задрав хвостик листком; и у скошенных плит, полусъеденных зеленомедным мхом и ветошью десятилетних листопадов пучится перепутанная трава и покачиваются на коленчатых голых расстебелях перхотные мелкоголовые соцветья, и кувыркаются через ладно свинченную головку на скрежещущих нейлоновых крыльях полупрозрачные с нефтяным отливом стрекозы, и задавленные венозные букочки уползают вниз; и с коричневых—матовых и глянцевого—овалов сереют широкобровые и широкооухие, изогнувшие глаза и растянувшие губы, растерянные смертью лица. И дальше низкая стена, а за нею—разлинованное, разграненное, плосковерхое и плоскобокое жильё подталкивает рассадненными локтями в промежутки между собой жирнодеревянный сброд деревьев, едва прикрывших копеечным лиственьем срам, и в каждом квадрате загораются стекла, а за ними мужчины

едят, наклоня головы, и в тарелках багровеет еда; и желтые автобусы катят, сжимаясь и разжимаясь, и внутри молчат; и квадратная река с еще не задернутой косой занавесью заката валится замедленно, подкошена мелковолнистозубчатой косой, которую подмышкой тащит за собою под мост до остова раздетый, низкий, четырехугольный корабль. Многоугольные острова всё поднимаются на своих дымных, наспринцованных голубым электричеством дрожжах, и дрожат в коротких отблесках кривые крыши, выпуклые стены и плоеные колонны; и угольные дожди маршируют сквозь сдвоенный строй лучевых циркулей по несужающимся угольным улицам; и в потных комнатах собираются бородатые люди у неживого вина, и нежный запах глупости смешивается с грубым запахом глупости, и печаль сопит в неразборчивых словах, и изогнутые женщины обнимают из-за спины, и сколько ж их, юных-юных от колких икр до душных волос, наклоняется, перекрестив на животе руки, чтобы распрямиться со взлетающим платьем; и дорогая музыка благодарности плывет в отделенной от всего тишине.

Вокруг нашей могилы с одной стороны море— краткое море, затворенное море, жемчужное море, но жемчуг погас, оттого что его ни разу не носили. С других же сторон—суша, которая нигде не кончается или кончается столь далеко, что это уже ничего не означает, суша с потушенным поездом, несущимся мимо разрозненных дощатых де-

ревень и рыхлых полукруглых полей, с поездом, лязгающим по мостам над сверкающими вечерними реками с наклоненными к ним слитными, поверху зазубренными, фиолетовыми лесами; с белыми круглоголовыми и ребристо-стальными городами, подвешенными к низким облакам; с Москвой—красноносой, переваливающейся со стороны на сторону, как тяжелый полукрылый гусь, с бульварной ее расщеленностью и садовой ее расчлененностью. Татарские женщины идут по Москве, и русские женщины идут по Москве, и еврейские женщины идут по Москве, улыбаются их ягодицы, переливаются на опущенных шеях позвонки; зеленые толстые мухи летят над Москвой, купаясь в стеклянной пыли; липовые старые боги сидят на Москве, растянув по подлокотникам неошкуренные руки. Страшная музыка счастья плывет над кирпичным ее огнем.

Вокруг нашей могилы дымный дождь Варшавы проходит глинистым предместьем в распахнутой жестяной рубашке, сквозь которую видна серая безволосая грудь; черно-зеленая Прага на черепичных коленях ползет вверх, к немецкому обрыву Градчан; прострелянный разноцветными пулеметами Париж дышит на свои кучные площади высохшим гипсом и сбродившим собачьим семенем; немецкие горы в зеленых и позолоченных касках шагают друг через друга, чтобы опять когда-нибудь перешагнуть через врага; а американские горы Нью-Йорка гоняют по зеркальным вин-

там золотые короткие лодочки, никогда не начинающие и никогда не кончающие свое свистящее скольжение. И еле слышная музыка луны сплывает из белого рупора луны.

Внутри нашей могилы зеленая короткая скамеечка, на которую—прицепив проволочной петлей чугунную дверцу к оплывшему столбику—можно сесть, сторбившись; внутри нашей могилы известковый камень—пористый, серый с белыми крапинами, а под ним зарыты кувшинчики с пеплом: поскольку на нас не хватало русской земли, мы сами отдавали свои тела на сожжение—в гладкие гранитные крематории, так похожие изнутри и снаружи на аэропорты. Но никого там нет, под камнем внутри нашей могилы—ведь мертвые уходят долгими подземными ходами, и старыми, и прорываемыми ангелами специально для них, перед ними, в суতোлке корней, в сверкании угля, в шипении подземной воды. Изподовсюду есть эти проходы—и из-под франкфуртской поляны со сваленными посередине осколками немецких шоссе, где бегал, когда-то, пузыря в пробитых ноздрях запах древесной гнили и тлея глазами, франкфуртский бык, укротитель наглой кладбищенской зелени, и когда белоголовые дети с рогатками и трещотками сваливались вовнутрь со стены, он странно—низко и медленно—кричал, и все знали, что завтра быка осудят и казнят на площади, и его обезглавленное горбатое тело зароят здесь же, в

углу, и, быть может, его забирали с собою ушедшие этого дня; — и из-под каменной пражской ступенчатой горки, под которой с вас же возьмут восемь крон, чтобы вы поскакали по серым лестницам, подышали светлым щелочным дождиком, поглядели на ваших собственных мертвецов, хотя их уж полтора века как здесь нет. И даже из заморья, под мусорным дном океана, идут наклоненные вперед тени, оставляя за собой погасшие стеклянные ульи и подстриженную тьму на полированных камнях; и перед ними ангелы — немые ангелы перехода.

Внутри нашей могилы давно нет моего деда, который обнимал меня, и смеялся, и пел, и танцевал, и служил на непонятных службах, и чтобы то ни было, но я знаю, что он был безгрешен, и еще знаю, что где бы ни похоронили меня — а я был грешен и грешен каждый день, — но я поднимусь и пойду под землей или под морем туда же, куда и он, чтобы найти свою очередь в бесконечном ущелье, под лепестком огромной, во всех и зримых, и незримых плоскостях закрученной розы — под желтым, заставленным белыми камнями склоном. И встану в скале рядом со всеми: качаться оставшееся время, как утопленник, притянутый камнем ко дну, — в ожидании музыки, которую знаю, но не слышу, — в ожидании дня разрешения и успокоения.

июль-декабрь 1992 г.
Schloß Solitude bei Stuttgart

КНИГИ АССОЦИАЦИИ « КАМЕРА ХРАНЕНИЯ»

Камера хранения. Четыре книги стихов.

М., 1989. 208 стр.

Поэтические книги:

Олег Юрьев. Стихи о небесном наборе.

Ольга Мартынова. Поступь январских садов.

Дмитрий Закс. Прекрасных деревьев союз.

Валерий Шубинский. Балтийский сон.

* **Камера хранения. Выпуск второй.** Спб., 1991. 256 стр.
Литературный альманах.

* **Камера хранения. Выпуск третий.** Спб., 1993. 222 стр.
Литературный альманах.

* **Олег Юрьев. Прогулки при полой луне.**
Спб., 1993, 145 стр.

Книга о деревьях, насекомых, женщинах,
и конечно, о луне.

Готовится к печати

** **Камера хранения. Выпуск четвертый.**

Литературный альманах. Ок. 200 стр.

Среди авторов: Е. Шварц, С. Вольф,

О. Юрьев, В. Губин, О. Мартынова, Д. Закс,

С. Юрьенен и др. Книга должна выйти в
начале 1994 г.

Книги, помеченные *, можно заказать и получить почтой.

Их цены в этом случае.

альманахи—15 нем. марок за экземпляр + 1 нем.
марка за пересылку

авторские книги—10 нем. марок за экземпляр +
1 нем. марка за пересылку

На книги, помеченные **, принимаются предварительные
заказы. При оплате до 1.1.1994—скидка.

В издания, готовящиеся к печати, принимаются
рекламные объявления.

Заказы по адресу: D. Zah. Roederbergweg 121,

60385 Frankfurt am Main. B.R.D.

fax: (069) 490 98 01

TOLSTOI-BIBLIOTHEK

**Библиотека Толстовского фонда
40.000 книг на русском языке**

Художественная литература

Классики

Переводы мировой литературы

Мемуары

Поэзия

Детская литература

Современная русская литература

Самиздат

Советская литература

Эмигрантские издания

Научная литература

Энциклопедии

(Большая Советская Энциклопедия)

Словари

Ежеквартальный Информационный Бюллетень

По желанию индивидуальная рассылка книг внутри ФРГ

Культурная программа

Концерты, авторские чтения,
показ видеофильмов на русском языке,
курсы немецкого языка

Рабочее время: вторник, четверг, пятница 13-18 ч.

Thierschstrasse 11/2-й этаж (Isatorplatz).

8000 München 22

Телефон 0 89/29 97 75, Факс 0 89/2 28 93 12

**КУБОН И ЗАГНЕР
МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ (МЮНХЕН)**

**Художественная и научная литература
из стран Восточной Европы**

КНИГИ

- по литературоведению и языкознанию
- по истории Восточной Европы
- по общегуманитарным дисциплинам
- художественная литература

*справки о новых изданиях
широкий выбор книг на складе
антиквариата*

ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ

*подписка
издания прошлых лет
газетный и журнальный антиквариат*

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОТТО ЗАГНЕР»
VERLAG OTTO SAGNER**

научные труды
-по славистике
-по истории культуры
Восточной и Юго-Восточной Европы

**Kubon & Sagner
BÜCHERPORT-IMPORT GMBH
Heßstraße 39/41
80328 MÜNCHEN
telefon: (089) 54 218-0
fax: (089) 54 218-218**